

ЛЕГКИЙ

СБОРНИК

рассказы

18+

МАРИНА АХМЕДОВА

Предельно честный и пронзительный взгляд на человека,
оказавшегося в эпицентре тектонических сдвигов истории

РИПОЛ **КЛАССИК**

Марина Ахмедова
Легкий сборник

«РИПОЛ Классик»

2026

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ахмедова М. М.

Легкий сборник / М. М. Ахмедова — «РИПОЛ Классик», 2026

ISBN 978-5-386-15577-3

Новый сборник прозы Марины Ахмедовой объединяет истории людей, столкнувшихся с вызовами меняющегося мира. Герои рассказов ищут опору в вере, любви и простых человеческих связях на фоне масштабных политических потрясений. Автор виртуозно фиксирует ускользающие моменты истины, создавая масштабное полотно о поиске смысла и сохранении достоинства в нечеловеческих обстоятельствах. Лаконичная и точная проза, ставшая зеркалом целого поколения.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-386-15577-3

© Ахмедова М. М., 2026
© РИПОЛ Классик, 2026

Содержание

Релокация	7
Четыре карты	21
Вилы	27
Торжество	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

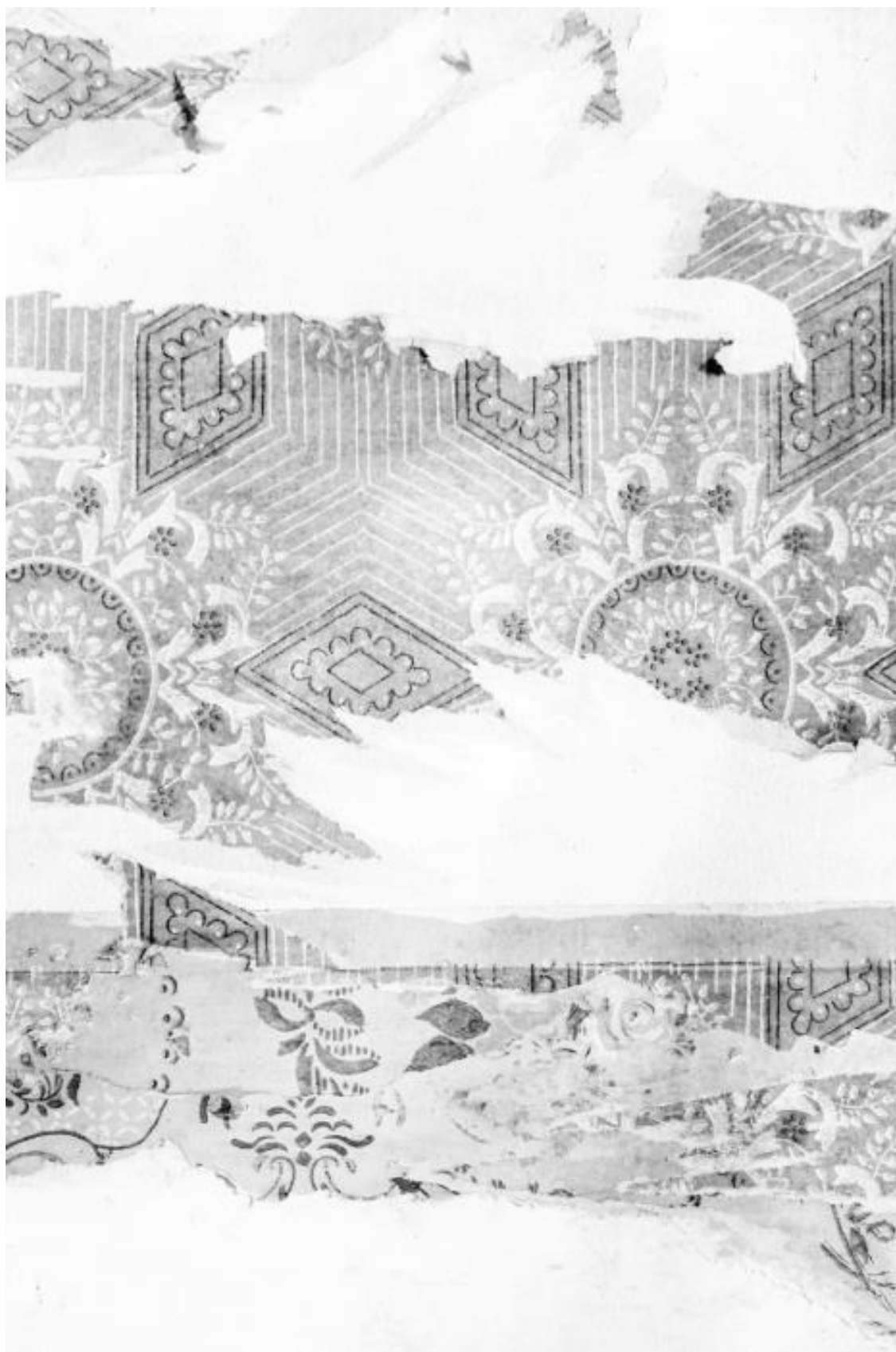
Марина Ахмедова

Легкий сборник



© Ахмедова М. М., 2026

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2026



Релокация

Будь день ненастным, Сергею было бы легче. Но день, как назло, был солнечным, высотки-стекляшки лупили бликами в окно такси. По тротуарам неслись самокаты, и Сережа чуть не расплакался. «Они так себя ведут, – думал он, – будто ничего не происходит и мы не внутри беспросветного ада. Будто отсюда не надо бежать».

Сережа был бы уже за тридевять земель, по крайней мере на границе с Казахстаном, обратись Темнейший к народу вечером, как обещал. Но он обратился сегодня утром. С вечера у Сергея было плохое предчувствие. В последние месяцы он вообще жил в полном сюрре. Перед сном посмотрел в агрегаторе билеты. Из Москвы до Астаны они чудовищно подорожали, но Сережа мог себе и такие позволить. Утром, изумленно глядя на Темнейшего, он вспотевшими пальцами трогал экран айфона, открывая агрегатор. Стук в ушах заглушал слова из телевизора. Сережа видел только, как Темнейший открывает рот. Он и сам точно не понимал, что его так напугало, смысл слов пока не доходил до него, но он знал, что они несут угрозу лично ему.

Билеты до Астаны еще были, но цены на них менялись как в бешеном счетчике. Сережа выбрал рейс, вылетающий в Астану через три часа. Сегодня он стоил в три раза дороже, чем вчера. Умные люди купили билеты вчера. Умные люди уехали еще после двадцать четвертого февраля! Билет загрузился. В продаже его уже не было. Кто-то его купил, опередив Сережу на несколько секунд. Он нажал на другой билет, пусть тот стоил дороже, но снова не успел вбить свои данные, билет был куплен. Сергей попытался еще и еще, но каждый раз не успевал, словно кто-то играл лично с ним наперегонки. Тогда он поднял на Темнейшего исполненные ужаса глаза. В этот момент Темнейший выразительно замолчал, посмотрел с экрана прямо на Сережу. Сережа застыл будто кролик. С трудом оторвал взгляд от лица Темнейшего и стал смотреть на его руки. Руки в белых манжетах спокойно лежали на столе. Их вид потряс Сергея. Темнейшему семьдесят лет, а в его спокойных руках чувствовалась молодая сила. Наконец в голову ворвалось слово «мобилизация», он вздрогнул и одновременно вспомнил маршрут, который на всякий случай предлагал ему Митя, – от Москвы до Астрахани, оттуда на машине к границе с Казахстаном.

Ночью Сережа спал плохо. Ему снилась прабабушка Антонина Васильевна. Наряженная в розовую блузку, она танцевала. Антонина Васильевна была в такой на праздновании своего девяностолетия. В восемьдесят шесть она сломала шейку бедра, врачи говорили, уже не встанет. Она встала и танцевала на своем юбилее, шатаясь и прихрамывая, но доказывая, что еще может жить. А должна была умереть в сорок первом – обязана была умереть.

В том году она убегала от немцев по зимней дороге, с шестимесячным ребенком на руках. Ударил мороз. Попутка подобрала Антонину Васильевну, когда ребенок уже отяжелел, и она потом говорила, что в тот момент все сразу и поняла. Пока она шла, ребенок все время молчал и был легким. Но вдруг отяжелел и, не издав ни звука, стал давить на ее окоченевшие руки. Она продолжала его нести, пока не встретила попутку. Развернув одеяло в кабине грузовика, Антонина Васильевна промолчала и, сойдя с попутки, по-прежнему несла сына. (Кстати, Сережу за чем-то называли в честь него. А прабабушка любила повторять: «Говорят, жизнь тяжела, а она – легка. Тяжела смерть». Эти слова понимали только те, кто знал ее историю.)

Она устроилась на завод и тяжело работала до возвращения с фронта прадеда. Уже после войны родила второго сына – деда Сережи. Но этот эпизод с младенцем всегда вызывал в Сергее изумление. Как? Как прабабка могла жить после такого? Как могла радоваться, плясать на праздниках? Почему сразу не легла в снег и не умерла? По размышлению Сережа приходил к выводу, что люди раньше были жестокими, дикими, не умели ценить жизнь, как ее ценят сейчас, и поэтому войну с немцами, о которой так любило говорить то поколение, встретили спокойно. Как неизбежное. Как то, от чего невозможно сбежать.

Сергею был уже тридцать один год, месяцев шесть назад он расстался с девушкой, о чем не жалел. Детей у него не было – слишком рано. Временами – чаще, чем хотел, – он думал о том замерзшем младенце, и на глаза его наворачивались слезы, он переживал настоящие душевные конвульсии. Мысленно Сережа обнимал холодного младенца теплыми руками и плакал горячими слезами. Сергей – фоторедактор, продюсер мультимедийных проектов в крупной российской компании – видел те события, в которых жила Антонина Васильевна, черно-белыми. *Те события* казались ему не просто далекими, а отстоящими на расстоянии невозможности от формы устройства, которую мир принял сейчас. Ведь теперь в мире действует спектр цветов. «В цветном мире такие события невозможны», – думал Сережа, повторяя про себя, что *он* бы смерти младенца не допустил.

Антонина Васильевна умерла, когда ей было девяносто семь. Отец Сергея – ее внук – отгрохал поминки в старом родовом доме, расположенном в деревеньке рядом с Великими Луками. Привез туда сколько мог родни, и к вечеру, напившись, они устроили пляску. Сереже в тот день казалось: вот-вот среди двигавшихся рук и ног мелькнет розовая блузка... Из глаз отца, помутневших от самогона, текли слезы, он стучал кулаком по столу и мычал: «Вы даже не представляете себе, кто умер! Кто-о!»

Сергей посмотрел в темный затылок азиатского водителя такси и вспомнил свой сон полнотью – ему снились Антонина Васильевна, отплясывавшая на собственных поминках, и отец. Отец стучал по столу, растерянно всматривался в мельтешащих перед его лицом родственников, как будто кого-то искал. «Кто умер? Кто?» – спрашивал он.

Такси проезжало метро «Сокол». «А что, если я не успею? – подумал Сережа. – Что, если меня схватят прямо в аэропорту?» Он поднял дрожащую руку и сфотографировал из окна такси вход в метро, чтобы когда-нибудь потом, если ему все-таки удастся бежать, рассматривать фото и предаваться тоскливым воспоминаниям об этом дне.

«Я оставался сколько мог», – думал он. Митя и Илья свалили первыми. Митя еще в конце февраля обосновался в Казахстане, Илья в апреле – в Узбекистане. Втроем они занимались одним мультимедийным проектом, Митя с Ильей продолжили работать над ним дистанционно и получать зарплату в РФ. Митя постоянно писал ему в чат одно и то же: «Родина – придумка людей, втайне желающих превратить тебя в раба, готового умереть за их иллюзорные ценности». Сережа, несмотря ни на что, не хотел уезжать. Его в столице устраивало все. Страна вела войну с соседом, превращалась в центр мирового зла, от нее отвернулся весь прогрессивный мир, частью которого Сергей себя мыслил, но тут по-прежнему было слишком комфортно, и происходящее Сережи, по крайней мере, не касалось. «Это пока, – писал ему Митя. – Они не успокоятся, пока не сделают из всех нас убийц и соучастников. Останешься, и тебя будут судить как соучастника». Илья писал, что в Самарканде дешевый плов и на рынке можно съесть целую пиалу с ароматной бараниной за копейки – триста российских рублей. «Каждый человек, – писал Илья, – должен в первую очередь думать о себе, и только после этого у него появляется право думать об окружающих». Уезжай, твердил он. Спаси свою жизнь и жизнь ни в чем не повинного украинца.

В это утро, лихорадочно бросая в рюкзак самое необходимое, Сережа жалел, что не слушал друзей. «Лох-лох. Лох». Ему казалось, что в дверь прямо сейчас постучат и вручат ему повестку. Он кинул в рюкзак новый макбук и зарядные устройства. О его ногу потерял Булгаков, Сережа посмотрел вниз и не сразу вспомнил, что у него есть кот. Дымчатый избалованный трехлетний британец. Сергей отстранил его ногой. «Придется матери звонить сейчас, – с досадой подумал он, – у нее есть ключи».

В дверь постучали.

Сережа тяжело задышал, кончик его носа покрылся испариной. Конеч.

Это конец...

Не успел...

Военкомат, фронт, смерть...

В дверь снова постучали.

Сергей бесшумно, на цыпочках подошел к двери. Посмотрел в глазок. Мяукнул Булгаков. Легкие в груди Сережи встали колом. За глазком в подъезде разливалось зеленое пятно, из которого проступал горб короба.

– Кто? – крикнул Сережа.

– Курьер, – раздалось из-за двери.

– Я не заказывал!

Курьер позвонил в соседнюю дверь. Сережа посмотрел в зеркало, встроенное в шкаф в коридоре. Правое веко набрякло и дергалось, под глазами легли темные круги. За одно утро Сергей изменился.

Он быстро захлопнул окна, перекрыл вентиль газа. Запирая входную дверь, бросил последний взгляд на Булгакова. Тот сидел в луче солнца, пробивающемся в коридор из кухни, и нервно лизал заднюю лапу. Сергей еще чуть-чуть задержался, чтобы перехватить кошачий взгляд, может быть, последний в жизни, но кот на него не посмотрел.

Выйдя из подъезда, Сережа набрал мать.

– Мам, я поехал, – сухо сказал он.

Зашел в приложение – через три минуты такси подъедет к указанной точке.

– Ты не говорил, – отозвалась из трубки мать.

– Сам не знал.

– До вечера не мог подождать? Мы бы к тебе приехали.

– До вечера он успеет еще несколько указов издать, – выпалил Сережа.

Снова сверился с приложением. Такси будет через две минуты. Сережа слышал бухтящий голос отца. Мать, закрыв рукой трубку, что-то говорила ему. Отец пытается забрать у нее телефон, догадался Сережа.

– Да! – наконец услышал он напористый голос отца.

– Я тут, – отозвался Сережа.

Но вместо того, чтобы говорить, отец принялся молчать. Сережа догадался: когда отец взял трубку, вдруг понял, что ему нечего сказать.

Показалось такси.

– Если хочешь, я поищу тебе билет до Астаны, – предложил Сережа. – На время.

– Мне? – обиженно удивился отец и снова помолчал. – Я не мальчик, чтобы бегать, – сказал он.

– Попроси маму Булгакова покормить. – Сережа нажал отбой.

Такси подъезжало к аэропорту. Сережа вспомнил вчерашнюю сцену в кафе возле дома. Он любил сидеть там за маленьким столиком в углу, пить глоточками эспрессо, обдумывать проекты, чатиться с Митей и Ильей. С баристой они изображали старых приятелей, здоровались по рукам, но если бы того заменили таким же приветливым, старый безболезненно был бы сразу забыт. Лица многих посетителей кафе были Сергею знакомы – сюда в основном ходили жители соседних домов. Сереже нравилась эта атмосфера маленького клуба для своих, как бывает в Европе. Вчера за столиком сидели постоянные посетители – женщина и по-модному бородатый мужчина. Больше всего Сережу поразило даже не то, что говорила вчера та женщина, а то, что она была беременна. Столик врезался в ее выпуклый живот. Она вдохновенно рассказывала, как вчера встретила у метро группу добровольцев, отправлявшихся воевать на Украину, и испытала такой душевный подъем, такой восторг. Она так и говорила – «Такой подъем! Такой восторг». Сережа поднял на нее изумленные глаза. Блеклое лицо женщины светилось радостью, порозовело. «Ад, – подумал Сережа. – Какой же лютый ад».

– Нельзя останавливаться. – Бородач отпил рафа и демонстративно шумно прополоскал им рот. – Пока всех фашистов не выдавим, останавливаться нельзя.

Сергей вынесся из кафе, оставив недопитым эспрессо. «Зомби, упыри», – повторял он про себя, вскакивая на самокат. Как же так? Казались нормальными людьми. Зомбаки и убийцы повсюду. Они – мертвы. Мертвы потому, что сами хотят убивать. Столько в этой стране оказалось упоротых упырей! Надо сваливать к своим, объединяться со своими. На скорости он промчался мимо женщины с коляской, едва ее не задев.

Войдя в стеклянные двери аэропорта, он услышал страшные ритмичные удары и успел вздрогнуть, побелеть, почувствовать, как пересохло во рту прежде, чем понял – это стучит его собственное сердце. Очередь двигалась к металлическим рамкам. Сережа набрал в поисковике – «мужчинам призывного возраста запрещено покидать территорию России». Ничего не нашел. Набрал – «вручают повестки в аэропортах». Ничего не нашел. Кинул телефон в рюкзак и, задыхаясь, вошел в рамку, стараясь не встречаться глазами с сотрудниками аэропорта. Когда его попросили поднять для досмотра руки, у Сережи потемнело в глазах.

В «Кофемании» он выпил двойной ароматный эспрессо. Это был действительно хороший кофе с привкусом дорогого вина. От кофеина и страха у него затряслись руки. Он подумал о том, что в Казахстане не будет такого эспрессо, глаза его увлажнились, но не от мысли о том, сколько всего он терял, покидая Москву, а от чувства несправедливости, которое порождала сама мысль о лишениях. Сергей где-то читал, что желание справедливости – это и есть доказательство божественного происхождения человека. Скорее всего, где-то в соцсетях, в чьем-то посте. Сережа там много чего читал, и некоторые мысли оттуда застревали в его голове, но в ней становились стерильными – теряли источник происхождения, след и просто загорались в нужные моменты подобием знания. В существование Бога он не верил, но для него мысль о справедливости все равно была близкой и понятной. Может, от того, что он русский? – пришло на ум, и было отвергнуто, с отвращением растоптано мысленно. Так примитивно, так убого и несовременно привязывать себя к какой-то национальности в двадцать первом веке!

В салоне самолета перед самым взлетом Сергей отправил в чат Мите слова из чьего-то поста: «Гнев. Отрицание. Торг. Принятие. Казахстан».

«Поздравляю, – быстро отозвался Митя, – ты покидаешь царство ужасов и беспредела. Лети. У нас масса планов».

«И ноль перспектив», – настрочил Сергей, когда самолет уже оторвался от земли.

«В этой стране», – успел поправить его Митя.

Сережа перевел телефон в авиарежим. В начале прошлого века белая интеллигенция вот так же бежала из страны, подумал он, а потом всю жизнь тосковала. Он окинул прощальным взглядом магистрали, зеленые массивы и постройки Москвы, но не почувствовал даже отголосков тоски. Сережа чувствовал только облегчение. «Жизнь легка, – вспомнилось ему. – Это смерть тяжела». Он бежал сейчас от смерти и потому был прав. Родина – придумка людей, втайне желающих превратить тебя в раба, готового умереть за их иллюзорные ценности. В двадцать первом веке стыдно быть привязанным к земле, когда границы всего мира открыты.

Он хотел представить весь мир, но перед глазами возникли мощные, слышно дышащие леса вокруг Великих Лук. Это турбины самолета выдыхали покойный усыпляющий лесной шелест. «Пусть эти сказки рассказывают глубинному народу», – успел подумать Сережа перед тем, как самолет наконец преодолел свинцовую крышку неба, и перед его глазами во сне опять замельтешила розовая блузка прабабушки.

В восемь вечера такси встало в конце колонны легковых машин. По словам таксиста, колонна заканчивалась в шести километрах отсюда. За легковой высилась колонна фур, ее хвост находился в двух километрах, по крайней мере, так Сереже показалось, когда они проезжали высоколобые кабины. Встречная полоса была свободна. По обеим сторонам лежала желтая степь, где сухой репей гнулся под ветром.

Сережа пошел вперед со стороны легковой колонны. Та не двигалась. В окнах машин он видел спящих людей. Он шел минут пятнадцать, глядя под ноги, а когда поднял глаза, увидел

в степи человека в черном плаще. Тот сидел на коленях. Сергей подумал, его немедленно надо снять для какого-нибудь проекта. Над степью раскатывались темные тучи. Между ними и землей врезалась желтая, с голубым отсветом полоса. Человек сидел прямо в ней, «касясь» коленями земли, а макушкой – неба. Кадр был грандиозным, мощным в метафорическом смысле. В воображении Сережа уже объяснял его на презентации. Он был уверен: этот человек молится. Но когда навел на него камеру телефона, постоянно искавшего сеть, быстро понял: не молится он. Сергея посетило странное чувство одиночества. Прежде чем он успел сделать кадр, человек повернулся в его сторону и посмотрел слепым взглядом прямо в камеру. Сережа хорошо рассмотрел проступившее на экране беспомощное лицо, освещенное неестественным голубоватым светом. Он опустил руку с телефоном. Впервые в жизни Сергей отказался от мощного кадра.

Пешей колонны было еще не видно. Быстро темнело, горели фары лишь нескольких машин. Сережа с отвращением вспомнил таксиста, молодого казаха. По дороге тот много и громко говорил по телефону на своем. В Москве Сережа бы сделал ему замечание, но тут не решился. Несколько раз ему показалось, тот говорит о нем, особенно когда таксист смеялся.

Часа через полтора пути таксист остановил машину и, повернув к нему круглое šťastливое лицо, сообщил, что цена поменялась и теперь дорога до Атырау будет стоить не десять тысяч, как обсуждали в аэропорту, а двадцать.

– Но мы договорились, – возразил Сережа. – Речь о такой сумме не шла.

– Сам пойми, – таксист нахмурился, – там, в аэропорту, дорога сюда уже сорок тысяч стоит. Цены быстро меняются. Мне невыгодно терять столько денег.

– Условия договора не меняют на полпути, – ответил Сергей.

Таксист отвернулся от него и минуты две смотрел на трассу, шумно вздыхал и пыхтел.

– Тогда давай ты выходи, – повернулся он к Сереже. – Меня тут жди, я поеду еще человека возьму, и часа четыре максимум, я за тобой вернусь.

– Так дела не делаются, – пробормотал Сережа, уверенный, что таксист за ним не вернется.

У него были с собой наличные деньги – семьдесят тысяч, снятые в аэропорту. Но отдавать озвученную сумму за дорогу он не хотел из принципа, из чувства протеста, из непонимания трат, предстоящих ему в Казахстане.

– Выходи, пожалуйста... – В голосе таксиста звучали одновременно и притворное сожаление, и угроза. – Я с тебя даже денег не возьму.

– Так не делают, – упрямо повторил Сергей. – Это несправедливо.

– Несправедливо? – с удивлением переспросил таксист. – Какая справедливость может быть к таким опущенным, как ты?

Сережина верхняя губа дернулась. Он понял, таксист намекает на его бегство из Москвы. Захотелось сразу выйти. Надо выйти из машины, и все. Пойти по степи, идти до самой границы. И Сергей выйдет. Прямо сейчас выйдет в эту голую негостеприимную степь, за которую клочками цепляется трава. Невозможно же не выйти после такого оскорбления. Бывают моменты, когда надо быть принципиальным, чтобы не жалеть потом всю жизнь...

Это решение можно принять через минуту или две. Минуту или две вполне можно подождать в машине, тут тепло, комфортно, а там – все чужое и идет дождь.

Одну или две минуты можно себе позволить еще посидеть... когда точно знаешь, что сейчас выйдешь один в степь... и по-другому поступить просто не сможешь...

– Хорошо, я согласен, – сказал Сережа.

Уже показался хвост пешей очереди. Сергей хорошо различал десятка два человек, стоявших в конце, остальная масса проваливалась в темень, от которой был шаг до ночи.

Загорелись фары – легковая колонна продвинулась вперед на десяток метров, на минуту все вокруг озарилось, и в пучке холодного света очередь ожила лицами, сутулыми спинами.

Сережа успел хорошо рассмотреть людей, стоявших возле него. Парня лет двадцати пяти со светлыми волосами, забранными под бейсболкой в хвост. Молодых женщину и мужчину. Сначала он принял ее за беременную, но разглядел ручки, торчащие из слинга. Вид этих слабых безвольных ручек, вырванных на миг из темноты, поразил Сережу.

– Алексей, – представился парень с хвостом, вглядываясь сощуренными от резкого света глазами в лицо Сережи. – Два дня стоять, – предупредил он. – Я тоже только подошел. Тут советуют держаться по четверо. Я с Инной и Пашей сконектился. – Он показал на пару. – Будешь четвертым?

– Привет, ребята, – сказал Сережа, приподняв плечи – этим движением он с детства демонстрировал дружелюбие. – Сергей. Реально два дня стоять?

– Ну, сутки – точно, – отозвался хмурый Паша.

Легковая колонна снова встала. Фары погасли. Сзади подошла еще группа теней. В спину подул степной пронзительный ветер. Сережа надвинул капюшон, ссутулился, смежил веки и так простоял, наверное, с час. Несколько раз он вздрагивал, когда кряхтел ребенок или причитающим голосом что-то говорила Инна, приходил в себя, но быстро возвращался в сонное оцепенение. Спина от холода стала каменной. В таком полуотключенном состоянии в Сережину голову заходили разные мысли – например, о том, что камни все чувствуют, и холод, и жар, но не могут сказать, не могут пошевелиться...

– Пойдем в степь. – Алексей тронул его за плечо. – Разожжем костер. Дубак.

– А очередь? – пробормотал Сережа.

– Она не двигается, – услышал он голос Паши.

– Мы только на обочину отойдем, – проговорил Алексей. – Оттуда хорошо все видно. Один из нас будет дежурить.

Они вышли из очереди, запомнив впереди стоявшего мужчину с черным чемоданом с красной стрелой. Очередь поредела, потеряла плотность, люди разбрелись по степи. Одни сидели на земле, другие там же укладывались спать.

Алексей достал из рюкзака колотые поленья, бумагу и спички.

– Ты это с собой притащил? – удивленно спросила Инна.

Она сидела на земле скрестив ноги. В темноте выделялась розовая подошва ее кроссовок. Ребенок спал, свесив тонкие ручки.

– Для Шивы, – ответил Алексей. – Хотел на земле Казахстана разжечь благодарственный костер. Если туда попаду.

– Ты – шиваит? – с интересом спросил Паша.

Алексей кивнул, Паша промолчал.

Зашипели поленья, плава темноту, которая здесь, над степью, казалась маслянистой, нефтяной. Алексей снял бейсболку, оранжевые блики пробежали по его затылкам. Да ему все тридцать пять будет, подумал Сережа. Под расстегнутой длинной курткой Алексея краснела жилетка.

– Ты получил повестку? – Паша прямо посмотрел в глаза Сереже.

– Нет, я не военнообязанный, – с готовностью отозвался Сергей, приподняв плечи.

Знакомясь с новыми людьми, он всегда демонстрировал дружелюбие. Считал, что так и должны вести себя современные прогрессивные люди. Чем шире сетка контактов, тем выше твои котировки.

– А ты? – спросил он Пашу.

– Служил, повестка пока не приходила.

– А я просто запаниковал. – Алексей выдал смешок.

– И правильно сделал, – заговорила Инна. Черный пепел от горевшей бумаги мошками вился у ее тонкогубого лица. – Помоги себе сам – вот как это называется!

Ребенок в слинге закричал. Сережа с новым изумлением смотрел на эти ручки, барахтающиеся в черно-рыжем воздухе. Он поверить не мог в то, что младенец находится прямо здесь, в этой пронизанной холодом чужой степи.

– Инн, – осторожно заговорил Паша, – давай я найду машину, поспишь там.

– Я тебя не оставляю! – нервно сказала она.

– Он замерзнет. – Паша потер высокий лоб под щетинящейся челкой.

– Ему тепло, он со мной, – отрезала Инна.

Она уставилась на огонь. Паша долго умоляюще смотрел на нее, она не отвечала, но по лицу было видно – знает, что он смотрит. Сереже показалось, он сейчас наблюдает нехорошую семейную сцену. Он отвернулся в сторону, в самую темь, в самую степь. Холодная каменная стена ночи стирала границу между небом и землей. Когда Сережа вернулся глазами к костру, Паша все еще умоляюще смотрел на Инну.

– Что?! – раздраженно спросила та.

– Я просил тебя остаться в Москве, я просил тебя не ехать, – тихо проговорил Паша.

– А я просила тебя уехать! – крикнула она, выделив слово «тебя». – Я просила тебя уехать еще в марте, в апреле. Я просила тебя уехать в конце февраля! Для тебя было важнее, что скажут твои родственники. Ты поставил их мнение выше жизни своего ребенка. – Последние слова Инна проговорила режущим голосом, давая понять, что такое отношение к ребенку – кощунство. – «Время выбрало нас, будем достойными его выбора – защитим родину!» – перердразнила она кого-то. – В чем? В чем достоинство? Позволить власти решать, жить тебе или умирать? О какой чести говорят они – эти вурдалаки? Они никогда меня не любили, я всегда это чувствовала, – выдала Инна жалобным голосом и ненадолго замолчала, а потом режущим шепотом добавила: – Они убивают младенцев!

Ее собственный младенец расплакался. Паша встал и, бросив «Пойду искать машину», – растворился в темноте.

Без него с этой чужой женщиной Сергеем стало еще неудобнее, тем более что Инна какое-то время после ухода Паши вываливала на них подробности своей личной жизни.

Ее свекровь – женщина, родившая и воспитавшая Пашу, вложившая в него время, силы и средства, – страшный человек. Она готова отправить родного сына на смерть ради каких-то иллюзорных ценностей. Ради какой-то родины. Ей плевать, что ребенок Инны останется без отца.

– Будь проклята такая страна, – сказала Инна. – Они убивают младенцев.

Сережа страдал. Инна через костер смотрела прямо на него, и он думал, что следует что-то сказать в ответ на ее признания, но он всегда боялся таких женщин, ему было холодно, он хотел спать и не мог сейчас быть максимально любезным. В высшей точке дискомфорта, когда Инна замолчала и продолжила давить на него застывшим взглядом, Сергей произнес:

– Я нормально отношусь к России, но ненавижу государство – это максимально точное описание набора моих эмоций.

– А я просто запаниковал, – хмыкнул Алексей. – Я вообще паникер.

– Я не хочу убивать, – сказал Сережа.

Где-то высоко в бездне неба застрекотал вертолет. Они посмотрели вверх. Дождь, которого Сергей не замечал, мелкими каплями забрызгал его лицо.

– Они всех нас перебьют, – сказала Инна. – Завтра они огласят результаты своих проклятых референдумов, и частичная мобилизация превратится во всеобщую.

Небо было уже чужим, уже казахским. Мысль о том, что придется провести под ним ночь, казалась Сереже невозможной, хотя он уже был здесь, в этой степи, и ночь уже наступила. И Сережа вдруг понял: право думать о ночи здесь как о невозможной оставляет за ним его уверенность в том, что он может прямо сейчас встать и уйти. Дойти до конца очереди, взять дежурящее там такси, доехать до аэропорта за любые деньги, улететь в Псков, оттуда – на

автобусе до Великих Лук, пешком до деревни. Он может уже завтра быть там, спрятаться в глуши лесов. «Соседи сдадут, – прервал он свои мысли. – Там тем более одни зомбаки».

Его мысли прервала Инна.

– Они убивают младенцев, – снова сказала она, погруженная в разговор с самой собой. – Они всех нас заставят убивать.

Сергея донимали ее слова и ее голос. «Нас всех заставят убивать, – беззвучно повторил он за ней, глядя в черную плиту неба, спрессованную в ночь. – Но я не хочу». Впрочем, в глубине души Сережа был уверен – если придется воевать, его убьют в первый же день. Он не сможет себя защитить, даже если захочет. Не умеет. Не учился. Не воспринимал и не принимал деятельность такого рода. Ему ближе буддистское – «Не убей даже комара». Отправь Сережу на фронт, его имя окажется в первой сводке потерь. Но, с другой стороны, эту свою неспособность защитить себя, в глубине души признаваемую слабостью, в уме Сережа все-таки связывал исключительно с той же первопричиной – нежеланием убивать. Желай он убить, он был бы сильнее. Но он не желает, и вследствие этого он вот такой. Для какого-то слабый, а для себя – сильный.

Вернулся Паша. Сел у костра, обхватив руками колени. Инна не обернулась на него.

– Не нашел машину? – участливо спросил Алексей.

– Как узнают, что с младенцем, никто не хочет пускать, – ответил тот.

– У нас очень тихий младенец... – Голос Инны ввинтился в черную плиту неба.

Паша бросил на нее пронзительный взгляд. Костер шуршал, щелкал. Алексей поднялся и, сказав: «Я сейчас», на миг растворился в темноте, но дорогу осветили фары ехавшей по встречной полосе машины, и Сергей увидел его, шагающего по-мальчишески подпрыгивающей походкой уже у обочины.

В ряду легковых завелся внедорожник, выехал на встречную полосу, перегородив ее. Подъезжавший «опель» резко развернулся в сторону степи. Его фары облили светом пешую очередь. Сережа нашел глазами Алексея, тот стоял у какой-то машины и, молитвенно сложив под подбородком руки, наклонялся к водительскому окошку. Благодарно кивнув, он пошел к следующей.

Раздались грубые мужские окрики. Начали зажигаться фары во всей автомобильной цепи. Из машин выскакивали люди, толпа обступила «опель». Его двери открылись, из него вывалились крепкие мужчины. Хор мужского ропота пробил женский вопль: «Ой-ёй-ёй!» Толпа, шумя, сжалась вокруг «опеля», и вдруг кто-то из ее центра угрожающе крикнул, толпа трусливо развалилась на две части. Окрик эхом выстрела раскатился над степью. К водителю «опеля» подскочила женщина в розовой жилетке и толкнула его. Тот в ответ толкнул ее, и она, удивленно вскрикнув, отлетела в остатки толпы с легкостью тряпичной куклы. Руки подхватили ее. Сергей увидел, как кто-то из мужчин пнул водителя. Тот рванул грудью в толпу: «Я тебя порву сейчас!» Завязалась потасовка. «Не проедешь, сука! – визжала, как Сергею казалось, та же женщина. – Зовите полицию!»

Сережа разинув рот следил за происходящим. Дорога была озарена пучком света многих фар, словно сцена прожекторами. Все казалось Сереже неестественным. Такого просто не могло быть, и эти люди на сцене лишь играют роль представителей класса Сергея, а на самом деле они – актеры. Представители его класса не могли быть такими, и вот так несуразно двигать руками, ногами, кричать такими нелепыми голосами. Представители Сережиного класса отошли бы, уступили, позволили этому «опелю» проехать, не потому даже, что были добры, а потому, что уподобляться – плохой тон. «Мы бежим от войны не для того, чтобы устраивать войну на границе», – подумал Сережа. Он перестал следить за происходящим, отвлекшись на мысли, пока его не встряхнул грубый голос водителя «опеля»: «И резко чуть-чуть сдвинься назад, я сказал!» Джип съехал со встречки и вернулся в свой ряд. Хлопнули дверцы, «опель» проехал. Фары постепенно погасли.

Вернулся Алексей. Он тронул за плечо Пашу:

– Пойдем. Там есть место.

Ночью дождь то переставал, то возобновлялся. Очередь не двигалась. Люди передавали друг другу: пограничники ушли спать. Часа два они втроем – Сережа, Леша и Паша – еще сидели у потухшего костра, разговаривали.

Паша оказался программистом, но без профильного образования. Они прямо здесь, в ночи, обсуждали будущие встречи в Казахстане и новые проекты, которые могли бы делать вместе. Сережа тут же дорабатывал планы, как-то даже истерично креативил, хотя знал, что никогда больше они с Пашей не пересекутся, в этом нет никакой надобности, и никогда они не создадут совместных проектов. Даже те проекты, которые Сергей так горячо предлагал сейчас, довинчивая их до совершенства, уже казались ему ненужными. Он бы не стал делать их и с кем-то другим. Сереже стало страшно. Не так страшно, как сегодня утром, когда он смотрел на руки Темнейшего. Ему сделалось страшно по-особенному, так страшно, как не было еще никогда. Да, ему казалось, что каждая мысль, воспринимаемая в момент рождения как бесценная, умирает, едва дойдя до рта. Из его рта слова падали уже мертвыми камнями на холодную землю. И ничего живого он как будто произвести не мог. Сергею захотелось заплакать вслух, услышать свой хнычущий голос. Он почему-то знал, что страх быть пойманным уйдет, забудется, как только он переступит границу России, но страх не родить больше живого, этот молоховский, вездесущий страх не уйдет никогда.

Потом Сережа долго не мог уснуть, а уснув, быстро проснулся из-за сковавшего его холода. Спина снова стала каменной, любое движение вызывало боль. Сколько он ни ворочался на тверди земли, засыпая и просыпаясь, ни в каком положении не мог уйти от неизбывного холода, который во сне тоже превращался в страх.

Перед рассветом его разбудил голос из громкоговорителя. Со сна Сережа не мог сообразить, где он и что происходит. По встречной полосе ехала машина ДПС с включенной мигалкой. Она озаряла степь и спящих в ней людей мертвым синим светом. «Ублюдки, ссыкуны, бежите, когда Родину нужно защищать», – гремел над степью чей-то голос.

– Максимальный сюр, – пробормотал Сережа.

Ни Паша, ни Алексей не пошевелились. Сергей был уверен: и они не спят. Голос разбудил всех, но не пошевелился никто, словно люди, лежавшие в степи, были мертвыми.

«Ссыкуны... – еще доходило до Сережи, пока машина двигалась дальше. – Родину... защищать». Он уснул в который по счету раз, совсем закаменел во сне, но каким-то образом продолжал думать и породил мысль о том, что придут времена, когда надо будет заговорить камню – потому что люди будут молчать. Но когда кто-то на пике этой мысли потерял его за плечо, Сережа ясно понял, что и она – мертвая.

– Наше место заняли, – тряс его Алексей.

Сережа поднялся и пошел к очереди, с трудом переставляя ноги. В сухой траве валялись обертки от еды, пластиковые стаканчики, пустые бутылки. Он споткнулся о пучок травы, цепко державшейся за землю сотней переплетшихся коротких корешков, почувствовал дикую боль в большом пальце. Сергей уже ненавидел эту траву, вцепившуюся в землю, саму эту холодную землю. Он вдруг подумал, что уже ненавидит и Казахстан.

Очередь за ночь выросла. Теперь было невозможно добежать взглядом до ее хвоста. Она уходила вниз по склону и там проваливалась в кучные облака, валившие сюда с российской стороны. Алексей направлялся к группе из шести молодых мужчин, головы которых были закрыты глухими капюшонами.

– Простите, – он тронул одного за плечо, – это наше место. Мы тут стояли.

Тот, не ответив, отвернулся.

– Подтвердите, пожалуйста, мы вчера за вами стояли, – позвал Алексей мужчину со стрелой на чемодане.

Тот обернулся, окинул красными от усталости глазами Алексея и молча кивнул.

– Вы видели? – Алексей снова обратился к новой компании. – Это наше место.

По-йогически изгибаясь, Алексей попробовал втиснуться между чемоданом и мужчинами в капюшонах. Сережа отвлекся на детский плач – подходили Инна с Пашей.

– Это шутка? – спросил Алексей. Он выглядел обескураженным.

– Что тут происходит? – истерично спросила Инна.

– Ничего особенного, – хохотнул Алексей. – Просто наше место заняли и не хотят уступать.

– Это наше место. – Инна подошла к мужчинам.

При свете раннего бессолнечного утра ее лицо оказалось миловиднее, чем Сереже виделось при свете костра. Обхватив руками младенца, Инна, встав спиной к мужчинам, предприняла попытку протиснуться впереди них. Рука одного лениво выплыла из кармана куртки и мягко отодвинула ее на обочину.

– Эй-эй-эй! – закричал Паша.

– Что творите? – сразу же заорала Инна. – У меня ребенок! Что творите?

Паша подошел к ней, обнял за плечи. Младенец заплакал.

– Ребят, вы серьезно не хотите освободить наше место? – удивленно спросил Алексей, пытаясь поймать взгляды под капюшонами.

«Как такое возможно? – недоумевал Сережа. – Как?» Он ловил на себе любопытные взгляды и спрашивал себя: что он должен сейчас сделать?

– Я требую отойти! – неожиданно для самого себя завопил Сережа. У него задергалась верхняя губа.

Мужчины, эти подонки лет тридцати – тридцати пяти в модных куртках, с рюкзаками на спине, в которых наверняка лежали такие же макбуки, как у Сергея, и в этот раз не повернулись, словно его не существовало. Сережа заглянул под ближайший капюшон и увидел равнодушную ухмылку.

– Немедленно выйдите из очереди! – закричал Сережа фальцетом.

– А то что? – обернулся, наконец, на него один из них. – Драться будешь?

– Буду! – запальчиво крикнул Сережа.

– Ну давай. – Мужчина повернулся к нему и в расслабленном ожидании удара глядел Сергеем прямо в глаза своими равнодушными голубыми глазами.

Надо ударить. Отец говорит: «Если не собираешься ударить, не угрожай». Надо бить.

– Я и ударю, – сказал Сережа, чувствуя слабость, растекающуюся по рукам. – Я и ударю...

– Пойдем, что с ними говорить, бесполезно. – Алексей дернул его назад, Сергей, сопротивляясь руками, все же послушался ногами, и в этот момент очередь резко двинулась.

Инна с Пашей быстро встроились в нее, и, спеша, они пошли вчетвером, если не считать младенца, наступая на пятки впереди идущим мужчинам. Бодрым шагом очередь одолела метров триста. Местами они даже бежали.

Глаза Сережи слезились от позора. Мельтешили белые облака. «Почему я его не ударил? – спрашивал себя он. – Не посмел? Испугался?» – «Я просто не хочу убивать, – отвечал он сам себе. – Я здесь для того, чтобы не убивать». Успокоения этот ответ не приносил, Сергей отворачивался к степи, смотрел на нее, растянувшуюся в желтую смазанную полосу. «Будь проклята эта страна!» – с отчаянием сказал про себя Сережа.

– Давай, давай, – приговаривал рядом Алексей, и в голосе его слышалась маленькая робкая радость – всем им сейчас казалось, что вот так, без остановки, они будут идти до границы.

Но метров через шестьсот очередь встала. Какое-то время в ней еще сохранялся задор взятого ритма, но скоро стало понятно, что таких же рывков в ближайшее время не будет. Паша ушел искать воду, чтобы подмыть младенца. Алексей дернул Сергея за рукав и глазами показал на группу в капюшонах. Те уже переместились еще дальше вперед. Сережу удивило

и одновременно успокоило то, что и другие люди из очереди безропотно позволили им встать впереди себя. «Я хотя бы сопротивлялся», – сказал себе Сережа.

Часам к девяти утра на встречной полосе появились парни и девушки с большими клетчатыми сумками. Они называли себя волонтерами. Ходили вдоль очереди, предлагая еду. Возмущаясь, Инна купила у них пятилитровую бутылку воды за семьсот рублей, тем более что Паша вернулся ни с чем. А Сергей после недолгих колебаний приобрел четыре бутерброда с ветчиной на всех. Каждый стоил по пятьсот. Сережа умял бы два, но не мог позволить себе купить по два на всех. На его счете лежала комфортная сумма, но он слышал в очереди разговоры о том, что казахские банки уже не принимают российские карты, а тех наличных, что лежали у него в рюкзаке – семидесяти тысяч, – было недостаточно для долгой жизни за границей.

Паша с Инной ушли искать возможность погреть для младенца воду. Какое-то время Сережа с Алексеем стояли плечом к плечу, разговаривая о жизни в столице. Алексей был родом из Астрахани, в Москве жил только три года, все время безработным, перебивавшимся случайными заработками. Скоро он тоже ушел, оставив Сережу охранять место в очереди. Сергей топтался на месте, с ужасом думая о еще одной ночи в степи.

Через полчаса вернулся Алексей, он катил перед собой старый велосипед с погнутым рулем.

– Шива послал, – коротко объяснил он.

Уже ходили слухи о том, что пешеходов начнут пропускать на велосипедах и самокатах. До обеда очередь совершила еще два серьезных рывка. Сережа, больше не задумываясь о том, как он смотрится со стороны, просто бежал в толпе, ни о чем не думая, слушая дребезжание кривого велосипеда, который Алексей катил перед собой.

Во время долгих стоянок Инна уходила в степь, садилась на рюкзак. Когда была его очередь, Сережа уходил с ней, оставив Алексея и Пашу охранять место. Он сидел, слушал, как свистит ветер, заставлял себя представлять происходящее мультимедийным проектом. В мыслях он поднимался коптером над этой степью, внутренним взором смотрел сверху и видел застывшее изображение темных людских масс, цепи легковых машин и пунктиры большегрузов. Временами его отвлекал беспомощный плач младенца, и тогда Сережа вспоминал свой родившийся в этой степи страх и о том, что творчество – любое – потеряло смысл. Зачем он тогда здесь, если творчества больше нет?

Очередь простояла как вкопанная часа три, и казалось, сегодня уже не двинется, но она все-таки тронулась и сделала внушительный рывок.

В сумерках к Инне подошли две женщины и, указав на свою машину, предложили вместе с мужем ехать с ними.

– Я педиатр, – обратилась к ней светловолосая женщина с одутловатым лицом. – Ребенку тут в принципе не место, но коль уж вы тут, позвольте, мы вас довезем.

Инна отказалась, сославшись на то, что ребенку будет комфортнее, если они быстрее перейдут границу, а автомобильная очередь двигается медленнее. Фыркнув, женщины отошли.

Наступила еще одна ночь. Сережа отстоял свой час в колонне, пока его и Алексея не сменил Паша. У Сергея было два часа для сна, он лег на бок, положив под голову рюкзак, и долго вертелся, пока не нашел максимально комфортную позу. Но сон не пришел.

– Все-таки нельзя было их пропускать, – вдруг сказал из темноты Алексей, голос его звучал агрессивно.

– Кого? – спросил Сережа.

– Тех мужичков. Больно борзые.

Сережа промолчал. Его удивило, что Алексей, этот лысеющий тридцатипятилетний мальчик с улыбкой миротворца, до сих пор думал о тех упоротых мужиках.

– Я просто не хочу ни с кем воевать, – сказал Сережа то, что повторял про себя с февраля, объясняя этими словами многие свои поступки.

Он вдруг почувствовал, что эти слова больше ничего не значат для него.

– Я не хочу никого убивать, – повторил он, чтобы убедиться, действительно ли они потеряли смысл.

Слова, превратившиеся в мантру, действительно больше не работали.

– При чем тут война и убийство, – с еще большей агрессией заговорил Алексей. – Они охамели вконец. Таких только на место ставить.

– Таким волю дай, они младенцев будут убивать, – неожиданно прозвучал голос Инны, и Сережа вспомнил, что и она тут – сидит со своим младенцем с ними в темноте.

«Она больная!» – воскликнул он про себя. Зачем она притащила сюда младенца? Мысль о присутствии ребенка пронзила его старой болью, руки по привычке потянулись обнять его, но на пике душевной судороги Сережа внезапно заснул и каким-то образом продолжил думать во сне и даже слушать тихий разговор Инны с Алексеем. Он понял, что они все тут – все-все люди на земле – для того, чтобы оставить импульс. И когда человек становится неспособным оставлять после себя импульс творчества, на него валятся страдания; он страдает, чтобы оставить после себя импульс страдания, ведь импульс все равно должен остаться, и если человек оказывается неспособным творить, то его ожидает страдание, потому что только оно и творчество способны импульс порождать.

Сергей проснулся как от толчка, чтобы запомнить эту мысль. Иногда с ним такое бывало – он внезапно просыпался, чтобы запомнить мысль, пришедшую во сне. Но теперь, когда он, глядя на темную фигуру Инны с младенцем, стал обдумывать эту мысль наяву, она показалась ему глупой и языческой. Язычество Сережа относил к отличительным признакам простого народа из какой-нибудь глубинки вроде Великих Лук. Он почувствовал злость на то, что он – Сережа, москвич, владелец трехкомнатной квартиры в центре, доставшейся ему по наследству, представитель прогрессивной молодежи, – сейчас находится в степи, словно безродный.

«В другой раз я ударю», – невпопад подумал он. Повернул голову к Алексею, чтобы сообщить о своем решении этому шиваиту, но вместо него рядом уже сидел Паша. Инна, положив голову ему на плечо, спала, продолжая обнимать младенца. «Да это ж Мадонна, – подумал Сережа, жалея о том, что нет света, чтобы ее снять. – Злая, истеричная, тонкогубая Мадонна. Мадонну сделал Мадонной импульс, порожденный страданием за ребенка, – дальше думал Сережа. – Инна страдает, значит, она – Мадонна». Следом Сережа отверг и эту мысль как языческую, обозлился на себя и крепко уснул, уверенный в том, что в другой раз точно ударит.

Среди ночи Сергея разбудил воинственный крик Алексея. Сережа вскочил и, еще толком ничего не понимая, бросился на дорогу. В глаз ударил луч, выбитый луной из кривого руля лежащего на обочине велосипеда. Очередь волновалась. Сережа ударился о кого-то плечом и сразу толкнул сам. Его глаза уже привыкли к темноте, и он различил с десяток чужаков, занявших их место. Сзади напирали такие же возмущенные. «Чё ты? – бухтели сдавленно голоса. – Чё, спросил, ты, сука, встал». Сереже почудился звук удара. В его спину кто-то с размаху прилетел, Сережа потерял равновесие, вынесся на обочину, споткнулся о велосипед. Овернулся и увидел, как из очереди вышвыривают Алексея. Тот упал на чемодан со стрелой и проехал на нем несколько метров. Сергей оскалился, бросился в толпу, схватил кого-то за узкие плечи. Чужое тело легко поддалось, и Сереже показалось, оно – под черным плащом – бесплотно. Сережа повернул человека к себе, сделал страшные глаза. На миг Сережа увидел себя со стороны – со сведенными бровями и этими страшными, выходящими из орбит глазами. Он испугался самого себя и ударил. Костяшки въехали в слабую скулу. У него мелькнуло в голове и исчезло – как будто он сам и был сейчас тем Молохом, страх к которому поселился в нем с прошлой ночи. «Сгинь, тварь!» – услышал он свой голос, а следом рыдание у себя под рукой. Какой-то большегруз включил фары, и Сережа увидел большие оленьи глаза, моргающие на

его оскал. Сережа вдруг вспомнил, что это лицо он видел еще вчера, когда наводил камеру на человека, сидящего на коленях в степи. В ужасе он отпрянул от него, и в этот момент ему остро захотелось услышать свой собственный громкий плач в этой проклятой чужой, нерусской степи.

Утром по встречной полосе поехала вереница легковых машин. Из них высовывались мужчины и предлагали довезти до границы за полчаса, час максимум. Место в машине стоило сорок тысяч. «В обед будет стоить пятьдесят», – предупреждали они. У Сергея мелькнула мысль – согласиться, сесть в машину и уехать, прибыть сегодня же в Казахстан и найти вписку. Может быть, Митя или Илья уже подыскивали для него что-нибудь. Но он опасался отдавать почти все свои деньги, а главное – ему казалось неправильным, несправедливым позволить этим людям с хитрыми глазами наживаться на его страданиях.

Машины с трудом набирали желающих и отбывали в сторону границы. Подъезжали новые, вставали на встречной полосе. Из открытых окон выглядывали крепкие руки.

– Стервятники, – сказал Паша. – Что-то у них на уме.

Часам к одиннадцати пешая очередь сильно продвинулась, но по-прежнему была далека от КПП. День стоял солнечный, степь лежала веселая, небо очистилось. От хвоста очереди пополз слух: на российском пункте сегодня же развернут мобильный военкомат и он будет вручать повестки всем военнообязанным.

Услышав об этом, Инна побледнела, открыла поясную сумочку, вынула деньги, пересчитала и передала Павлу.

– Сорок. Езжай. Езжай, пока они тебя не схватили.

– Я не поеду без тебя и ребенка, – изумился Паша.

– Ты... поедешь... – с угрозой произнесла она. – Поедешь! – Ее голос сорвался на истерику. – Поедешь, – властно повторила она и заплакала.

– Без вас – нет, – твердо сказал Паша.

– Идиот, у нас остается двадцать тысяч! – крикнула она, потеряв терпение. – Иди договаривайся, если ты мужчина!

Ссутулившись, Паша ушел к машинам. В прежние времена, да еще позавчера, Сережа легко мог бы отдать двадцать тысяч просто так. «Ты мог бы отдать им и сейчас, – сказал он себе. – У них ребенок. Паша – военнообязанный. Люди одного круга должны друг другу помогать».

Скоро Паша вернулся – цена за место выросла до пятидесяти тысяч, и, похоже, мобильные военкоматы появятся уже сегодня. Сережа посчитал – нет, отдать им сорок тысяч он не мог.

– Я бы дал, – пожал плечами Алексей. – Просто у меня ничего нет.

– Так езжай же, – прорычала Инна. – Езжай, пока тебя не скрутили! Жди нас на границе. Ты сдохнешь в окопе, идиот. Для кого я рожала?! Я не для того рожала! – Инна теперь задыхалась и тяжело раздувала узкие ноздри. – Хватит убивать украинских младенцев! – завизжала она.

Ребенок в слинге закричал. Инна наклонилась к нему, из ее глаз на его маленькую голову капали слезы.

– Дай его мне! – Паша протянул к младенцу большие руки.

Инна зло посмотрела на него. Паша снова ушел к машинам.

«Господи, да отдай ты им эти деньги!» – рывкнул про себя Сережа, бросился к обочине и подставил горячее лицо мягкому ветру.

Паша уехал через полчаса. К нему присоединились еще два военнообязанных попутчика. Инна осталась стоять на дороге. Она подпрыгивала и раскачивалась. Ветер шевелил концы слинга, и те тянулись в сторону уехавшей машины. Сережа решил, что Инна тронулась умом, но потом понял – она так успокаивает ребенка.

Еще несколько часов они молча стояли в очереди. Инна больше не уходила в степь, держалась Сергея и Алексея. Очередь медленно, но двигалась. В обед Инна ушла менять ребенку памперс, но быстро вернулась – красная, заплаканная и дрожащая.

– У него жар, – беспомощно говорила она. – Он весь красный, ему плохо. Сделайте что-нибудь. Помогите мне кто-нибудь.

Очередь заволновалась, люди передавали по цепочке назад и вперед – «Есть здесь врач?». Алексей убежал и вернулся минут через десять, когда Инна уже впала в истерику, скулила и судорожно обнимала ребенка. Рядом с ним шел красноглазый помятый мужчина в дорогом пальто. Он назвал себя врачом, взял в руки ребенка. При прикосновении чужих рук младенец истошно заорал. Мужчина положил ребенка на капот чьей-то машины. Сережа впервые увидел маленькое красное лицо, и его грудь свела судорога боли. Короткими толстыми пальцами врач ощупал живот, шею ребенка.

– Инфекция, – сказал он.

– Он умрет? – взвизгнула Инна.

– Дура, что ты вообще тут на дороге с ребенком делаешь? – Его короткие пальцы коснулись Инны, отодвигая ее от себя. – Поезжай срочно в больницу.

Инна беспомощно посмотрела на стоявшего рядом Сережу, тот быстро отвел глаза, пока она не успела перехватить его взгляд. В голове зашевелилась слабая мысль, напоминавшая ему что-то из снов в степи: после нас останется только импульс. Но эту мысль перешибло воспоминание о том, как он ударил. И снова захотелось плакать, сбежать из этой степи, от Инны и ее орущего ребенка. Выкинуть весь этот дремотный бред из головы, вернуться в свою жизнь... Что за бред, какой же лютый бред даже допускать мысль о том, будто какой-то иллюзорный импульс может быть важнее физического спасения?

– Присмотри за моим великом, – сказал ему Алексей. – Сегодня точно на великах будут пускать. Я провожу Инну и быстро вернусь. – Алексей молитвенно сложил руки и поклонился Сереже.

Тот кивнул. Алексей повел Инну по обочине. Сережа поднял с земли велосипед и поставил его боком перед собой.

Минут через пятнадцать очередь зашевелилась, пошла. «Пускают на велосипедах и самокатах!» – крикнули из передних рядов. Сергей медленно шел, держа кривой руль, щуря один глаз, в который прыгал солнечный блик. Велосипед дребезжал.

– Не продашь велосипед? – то и дело подходили к нему.

– Это друга, – упрямо мотал головой Сережа.

Скоро он вывел велосипед из очереди, сел на него и поехал. Теплый ветер задул ему в лицо. Сначала Сергей крутил педалями медленно, но постепенно прибавлял скорости. Шаткий велосипед подпрыгивал на дороге. В груди Сережи екало. Ветер сдувал со спиц дребезг, и ему казалось, что вслед звенят шаловливые колокольчики.

Следующей ночью Сергей спал уже в чистой постели в съемной квартире, найденной для него Митей. Едва он закрыл глаза, как под веками проступили лица Алексея, Паши, Инны и красное личико младенца. Сережа дернул головой, они уплыли, но после младенческого лица остался красный фон. На нем отчетливо проступило лицо российского пограничника. Сощурившись, тот спрашивал, служил Сергей или не служил, куда едет и с какой целью, получил ли он повестку. Сережа понял, что красное – это его страх, и перевернулся на другой бок.

На другом боку перед глазами возник Булгаков, лизавший заднюю лапу. Сережа провалился в сон, и ему снова снились отец и прабабушка в розовой блузке. Отец стучал кулаком по столу, спрашивал: «Кто-о умер? Кто?»

Четыре карты

Шизик бросил пыльную коробку на землю, пристроил винтовку у ствола молоденькой сливы и растянулся рядом. Подперев голову рукой, он смотрел в небо сквозь густые белые цветы. К стволу была прибита картонка, расчерченная под мишень. Вчера Шизик с Адвокатом заселились в деревенский дом, стоящий на отшибе, и вчера же вечером Шизик сам прибил мишень к стволу сливы. Утром она зацвела. Тонкие губы Шизика растянулись в улыбке – он вспомнил вчерашний день и деда Мишу.

Жил в этом доме такой дед Миша. Чуть не каждый день в штаб приходил: то вина самодельного принесет, то огурчиков соленых. Глаза деда слезились, и улыбка у него была детская. Будто радовался он приходу в село военных, чуть не плакал от счастья, всю жизнь их прождал. А потом в штаб заглянул сосед и стукнул, что дед прячет у себя раненого. Вот был блеск: заходят к деду в дом Шизик и Адвокат. Дверь открывается, в сени заскакивает резкий солнечный свет, бросается на занавески, закрывающие вход в комнату, и как будто распарывает их пополам там, где между ними щель. В этой прорези ядовитого света Шизик видит, как раненый садится на диване, ищет ногами тапки. «Дед, ты?» – спрашивает. И дед, скотина тупая, скрипит из угла: «Не я, сынок, беги». Тварь.

Враг еще какое-то время сидит, свесив голову, весь в солнечном коконе. Бежит к черному ходу, хлопая тапками. Шизик и Адвокат за ним. Во дворе у крыльца Адвокат приструнил его автоматной очередью. Шизик не стрелял, у него снайперская винтовка, но с преувеличенным интересом проследил за тем, как разлетаются тапки. Он же потом поднял их и отнес на ступеньку крыльца. Деда конвоировали в военную комендатуру. Всю дорогу, тварь, молчал. Не улыбался.

Вернувшись из штаба вчера, Шизик сразу прибил мишень, лежавшую в рюкзаке. Адвокат ушел, а он тут остался, сел у сливы, слушал, как жужжат мухи, налетевшие на труп. Небо стало синим, как старая фарфоровая чашка, которую мать держала на верхних полках в шкафу. Шизику велено было ее не трогать.

Шизик лег на спину. Мог пойти дождь. Шизик никогда не видел такого сочного неба. Мать воспитывала его одна, родители ее были городскими, ни весной, ни летом он не бывал в деревне.

В этом селе, куда подразделение Шизика зашло с неделю назад, жили в основном фермеры, сеяли пшеницу. Половина бежала, как только начались бои в соседней Ниве. Во дворах осталась брошенная сельхозтехника. В полях лежали мины. Самые упоротые фермеры выходили пахать на тракторах, пока три дня назад один не подорвался на mine. Пекарня, магазины – ничего в селе не работало.

Шизик расслабился и как будто уснул. Не спала только рука, сжимающая винтовку. Усыпляюще жадно жужжали молодые мухи.

Вернулся Адвокат. Он привел широкоплечего чернявого фермера. Шизик приоткрыл глаз.

– Копай, – приказал Адвокат и сел за столик у крыльца, положив на него автомат.

Шизик подобрался, прислонился к сливе, почувствовав позвоночником сучки ее тонкого ствола. Одним глазом он наблюдал, как фермер копает. Его заинтересовало сплетение мышц, проступающих через рубаху на его широченной спине. Они мощно вздрагивали каждый раз, когда фермер выворачивал большой ком земли, перерубая едва проснувшихся червей. Вот так оно всё у этих сепаров: сверху идиллия, зелено, мельница у въезда, а под землей – мерзкие черви, готовые жрать трупы оккупантов и защитников.

Закончив копать, фермер отбросил лопату. Тут же спохватился, подобрал ее и осторожно воткнул в насыпь.

Адвокат заглянул в яму.

– Тут сразу двое поместятся, – хохотнул он.

Фермер содрогнулся. Шизик в нос ударил запах его пота, чернозема и перебитых червей.

– Давай, скидывай его, чё встал, – приказал Адвокат.

– Дайте веревку или тряпку, – просипел фермер.

– Чё сказал? – нахмурился Адвокат. – Вот твари вы, он же типа за вас сдох, а вы брезгуете. Руками его бери – свой русский мир. «Дай тряпку», – передразнил он. – Обойдешься.

Шизик перевел взгляд на мертвого. За полтора часа, прошедших с его смерти, тот как будто уменьшился в размере и, похожий на подростка, лежал, уткнув раскрытый рот в жирный ком земли, неаккуратно сброшенный с лопаты возле его лица. Рот мертвого был влажным, молодым. Он словно глотал чернозем, чтобы сдержаться и ничего не ответить Адвокату. Рядом дергался перерубленный червь, искавший свою половину.

Фермер схватил мертвого за руки, легко перевернул на спину и столкнул в яму. Хотел отряхнуть руки, но, взглянув на Адвоката, осекся и стоял, чуть не плача, держа руки на весу, словно их коснулась чума. Подняв лопату, он быстро завалил яму землей. Когда дело было сделано, Адвокат встал с места и энергично пробежался пару раз туда-сюда по образовавшемуся холмику. Шизик тоже встал и положил сверху на холмик тапки.

– Это еще зачем? – спросил Адвокат.

– Надгробие, – ответил Шизик.

Адвокат расхохотался. Фермер взглянул на них, содрогнулся всем своим мускулистым телом и сам стал похож на перерубленного червя.

Всё это было вчера вечером, и вчера же вечером Шизик с Адвокатом пили во дворе крепкий чай с сахаром. В Ниве шли тяжелые бои. Ротация была назначена на послезавтра. Адвокат злился на местных, он был уверен: те сдают их своим сыновьям, мужьям, братьям, сватам, кумовьям, воюющим на другой стороне. «Это давно не наши люди, – говорил он, – тут некого защищать. Вешать их всех на березах».

Дождь вчера так и не пошел. Закатное зарево мешалось с орудийным, и раскрытые тюльпаны с нарциссами наливались зловещим свечением. Шизик блаженно улыбался, молчал. Умиротворяющий момент длился недолго, солнце закатилось. Шизик ушел в дом и уснул на диване, на котором еще утром спал убитый.

Сегодня Шизик скучал под сливой в ожидании выхода на боевые. Он открыл коробку, найденную в подвале дедова дома. В ней обнаружил несколько колод Таро. Вспомнил: дед рассказывал о дочке, уехавшей на заработки в Испанию. Карты – ее, догадался он.

– Чепухонь какая-то, – проговорил себе под нос.

Высыпал одну колоду на ладонь, перебрал пальцем карты – с них лезли голые женщины в развратных позах.

– Похабщина, – нахмурился Шизик, сунул руку за следующей колодой и замер.

Из-за забора доносился приглушенный женский голос.

– Только к речке свернули, четыре. Бэтээры, да, – говорил голос. – Встали, где лебеди. В точности где наше место. Я спецом по той стороне шла.

Шизик подкрался к забору. Винтовка болталась у него за спиной. Голос смолк. Слышно было, как за нагретым листом железа кто-то сбивчиво дышит. С параллельной улицы сюда повернули танки. Треснула, как стекло, установившаяся в воздухе золотистая дымка. Танки бешено грохотали, будто затягивая под себя и дробя гусеницами дома, деревья, кирпичи, украшавшие дорожки.

Калитка распахнулась, во двор вбежала девушка лет двадцати двух и, прислонившись к забору, закрыла лицо руками. Ее пышные пшеничные волосы были собраны в неаккуратный хвост на макушке. Танки пошли вровень с забором, свернули на соседнюю улицу и удалились в сторону Нивы. Девушка выпрямилась, выдохнула и уже поворачивалась к калитке уходить, когда увидела впившегося в нее взглядом Шизика. Она закричала так, словно ей на темя вылили кипятка.

– Нет, – обреченно сказала она.

– Да! – нарочито бодро ответил Шизик.

– Нет, – повторила девушка.

– Да! – воскликнул Шизик. – Да. Да. Да. Да!

Теперь он разглядел ее: плотная, белая, деревенская, толстоногая, никакая. Глаза с деревенской злобинкой. Солнце электричеством гуляет в волосах.

– Иди за мной. – Шизик поднял с земли коробку и пошел к столу.

Она покосилась на калитку. Шизик обернулся нетерпеливо, она пошла за ним.

Шизик уселся, достал из коробки колоду, которую только что называл «похабщиной».

– Тяни, – приказал он.

– А где дед Миша? – пошарила по двору глазами она.

– Сядь, карту тяни.

Девушка перевела взгляд на его руку и смотрела так, словно карт никогда в жизни не видела. Как во сне, потянула и, не глянув на карту, бросила ее на стол, засыпанный крупинками сахара. Та легла рубашкой вверх. Шизик перевернул карту, его бровь поползла вверх.

– Тебя как звать? – спросил он.

– Юлия, – пересохшим голосом ответила она.

– А меня – Шизик.

Развернул веером всю колоду. С карт полезли упругие груди, сладостно прикушенные губы, задранные юбки, завитки потайных волос. Лоб Юлии покрылся крупными каплями пота.

Шизик взял ее карту и поднес к ее лицу. Карта изображала голую девушку, сидевшую на луне под зонтиком.

– Говори первое, что подумала! – приказал он.

– Ничего... – затрясла головой Юлия.

– Говори! – раздраженно дернулся Шизик. – Что думаешь? Первое!

– В мечтах она живет, – выпалила Юлия.

– Ну! Еще.

– Свое в голове рисует, чего по жизни у нее нет.

– Говори-говори.

– Холодно ей, что ли, – добавила она.

– Ну, ясно, голая же. А он что, не согревает? – с серьезным выражением поинтересовался Шизик.

– Кто он? – испуганно спросила Юлия.

– Он.

– Не знаю, о ком вы.

– Он, он, он! – требовательно закричал Шизик. – Тот, о ком она мечтает. Не согревает, спрашиваю!

– Видать, когда как. Когда выгодно, согревает, а когда нет, то и нет.

– Жениться не обещал? – спросил Шизик.

– Наверяд ли, – ответила она.

– А чё нет? – Шизик вгляделся в карту. – Девушка вроде симпатичная. Говори, говори!

– Может, она не ценит себя? – тяжело вздохнув, сказала Юлия.

– Вот! – воскликнул Шизик. – Вот-вот-вот! Вот он – корень всего! Вот ты сама всё и сказала: не ценит она себя! А мужики не ценят тех, кто не ценит себя. Он ей жениться не обещал, а она уже под каждое его желание подкладывается. Ты себя должна ценить. Догадываешься почему?

Юлия энергично затрясла головой. Шизик некоторое время слушал, как она тихо задыхается от страха.

– Не догадываешься? – переспросил он. – А ты из всей откровенной похабщины, – Шизик понизил голос и смешал карты на столе, – вытянула единственную непохабщину. Прослеживается в тебе что-то особенное. Ну, давай дальше смотреть.

Насвистывая, Шизик полез в коробку. Юлия оглядела двор и задержалась глазами на холмике. На лице ее мелькнула догадка, и оно все – щеки, толстый нос, алые губы – мелко затряслось. Только лоб оставался бледным, каменным. Шизик резко прервал свист.

– Тяни, – положил перед ней другую колоду.

Дрожавшей рукой Юлия сняла верхнюю карту с колоды и, снова не взглянув, протянула Шизиду.

– Так-так, – проговорил он. – Я так и думал. Хоть понимаешь, кто ты есть? – Шизик перебросил карту ей через стол, его голос потеплел.

– Копья какие-то, чи шо? – тихо отозвалась она, изучая карту. Та изображала пажа с десятью копьями.

– Ты реально не понимаешь? – Шизик возрился на нее. – Ты – Жанна д'Арк!

– Да прям, – ахнула Юлия.

– Ты послана в этот мир, чтобы спасти его. Из всего похабняка ты вытянула непохабняк. – Шизик хлопнул по столу, согнав муху, всосавшуюся в крупинку сахара. – Я лично впервые такое вижу.

Шизик с наигранным восторгом уставился на нее. На щеках Юлии проступил румянец смущения, оживив все ее мертвое от страха лицо. Глаза стали синими, и Шизиду на ум снова пришла чашка матери. Он заметил, что у Юлии красивые темные ресницы. Звуки боя в Ниве смолкли еще какое-то время назад. Ветерок заносил во двор запах земли, стонущей потому, что ее не пашут, а взрывают снарядами.

Шизик сгреб колоду, хорошенько перетасовал и снова протянул ей.

– Третья карта объяснит все, – предупредил он.

Лицо Юлии стало серьезным, и от умственного усилия как будто еще больше расплюснулся нос. Пыхтя от усердия, она взялась за краешек карты, потянула его, но передумала – и так три раза, пока на четвертый не вынула карту из низа колоды. Мягко улыбаясь, Шизик наблюдал за ней. Юлия сунула карту ему стыдливо и уставилась на него с жадным любопытством. Взглянув на карту, Шизик преувеличенно трагически вздохнул. Она затревожилась.

– Но кое-что тебе мешает, – сказал он.

– А что? – спросила Юлия.

Он показал ей карту. На ней всадник скакал на коне.

– Он, – торжественно провозгласил Шизик. – Он, он, снова он! – Шизик возвысил голос и хлопнул по столу, согнав муху. – Каждый раз, когда рождается особенная, появляется *он*. – Шизик закурил. Он пускал сочные кольца дыма в ее голубые глаза. – Боюсь тебя обидеть, – сказал Шизик, когда ее глаза заслезились от дыма. – Сравнение у меня для тебя хреновенькое. Но ты и сама знаешь, что слишком любишь переживать эмоции и жить в мечтах. Скажешь, не так?

– Малость есть, – покраснела Юлия.

– Ах-ха-а! – гомерически расхохотался Шизик. – Да тут не малость, не-не-не! Извини, тебе эмоции нужны – как мне сигаретка, чтоб покурить. Поэтому ты выбрала мужчину, который ничего не обещает, а ты все его хотелки исполняешь зато.

– У меня нет мужчины! – испуганно воскликнула Юлия.

– Окстись! – строго сказал Шизик. – Ты сейчас уйдешь и, может, в жизни меня не увидишь. Я хочу тебе помочь.

Они оба замолчали. Он взял со стола две карты – девушку на луне и белого всадника, положил их рядом.

– Он ей мешает, – сказал Шизик, постучав грязным ногтем сначала по всаднику, потом по голый. – Предаст ее в любой момент.

– Почему? – не удержав любопытства, спросила Юлия.

– А ты сама уже все сказала: не выгодно. Люди так носятся с предательством – он меня предал, ах-ах-ах. А на самом деле предательство – это утрата выгоды, и всего. Пока выгодно, он с тобой. Перестает быть выгодно – уходит. И вот совсем другие перспективы. – Шизик потянулся за картой с пажом, втиснул ее между всадником и голый девушкой. – Вот она, силища, которую ты сливаешь в помойное ведро. – Он пересчитал копей. – Десять копий, мама дорогая! Дорого бы я дал за то, чтобы вытянуть такую карту.

– А деда Мишу вы убили? – спросила Юлия.

Шизик примолк. Со стороны Нивы грянул тяжелый раскат. «Грады», – подумал Шизик. Легло со стороны речки. Шизик прикинул точнее где. Возле лебедей, которых, по словам местных, запустил на воду лет пять назад один фермер, удачно продавший в каком-то году урожай. Там же было место встреч всех влюбленных. Два, три, четыре, пять – легло еще четыре «Града». Наступила тишина, которую скоро снова заполнили птицы и мухи.

Юлия смотрела на него не сводя глаз, будто загипнотизированная, и он вдруг заметил, что над пшеничными ее волосами образовалась дымка редкого золотого света. Такая же вилась над тюльпанами, над белёными кирпичами и над холмом земли. В этой дымке глаза Юлии стали синими, словно вырезанными из того куска неба, на которое вчера смотрел Шизик после убийства. Она вся преобразилась. Сцепившись, как два оголенных провода, редкий весенний свет и сама ее молодость породили электрическую вспышку такой красоты, что Шизик был ослеплен. Во второй раз за день он подумал о том, как хорошо жить в деревне.

– Жив твой дед, – буркнул он. – Отдыхает в комендатуре.

– А что он сделал? – спросила Юлия.

– Лгал.

Она склонила голову набок. Приоткрыв молодой влажный рот, слушала, как жужжат мухи, внедряясь в рыхлый холмик, слушала сосредоточенно, словно те могли рассказать ей, что там, под землей.

– А тапки там зачем положены? – спросила Юлия требовательно, словно почуяла над Шизиком власть.

– Да разулся вчера тут один, – негромко ответил он.

– А карты ты где взял?

– Слушай, ты реально меня больше никогда не увидишь, – с грустью проговорил Шизик, – а я мог бы тебе помочь. Но тебя в такой важный момент интересуется только, где я карты взял. Считай, что они – трофей.

– Отпусти меня. – Юлия повернулась к нему.

Шизик собрал со стола карты.

– Иди, – сказал он и показал на калитку. – Сама зашла, я тебя не звал. Просто увидел и захотел помочь. Думал посмотреть твою четвертую карту. Она скажет о твоём будущем всё. Но не хочешь, так иди.

Шизик отвернулся и стал смотреть на сливу. Все-таки удивительно крупными цветами цвело это тоненькое деревце.

Юлия осталась сидеть. Шизик видел, как она едва заметно качается из стороны в сторону, ей хочется и уйти, и остаться. Подождав еще, он протянул ей колоду. Она аккуратно достала из нее карту и положила на стол.

– Туз мечей, – присвистнул от восхищения Шизик. – Вот это чепухонь... Ты достала символ власти. Тебе дана власть, выходящая за границы власти земной. Знаешь, что это такое?

Юлия затрясла головой.

– Земная власть – это примерно как убить человека. Или не убить. Всего лишь. Человек может многое сделать для того, чтобы его убили. А может не сделать ничего. Это все земное. Но то, что дано тебе, сильнее власти убивать. Какого хрена ты достала эту карту? – Шизик с долгой тоской посмотрел на нее. – Какого хрена? Ты особенная.

Из ее глаз потекла синева, и Шизик показалось, что он пьет из запретной чашки матери, пьет, пьет и не может остановиться. Весь нескладный, с неделю уже не мытый, он подался вперед и грелся в этой женской ласке, не знающей ни границ, ни родов, ни племен и не имеющей земных пределов. Миг набирал силу и мог повернуть туда, где между мужчиной и женщиной возникает неразрывная связь на всю жизнь. А мог затухнуть, едва вспыхнув, как короткое замыкание, и потом смутно напоминать о себе особым светом, колющим копьём душу в конце апреля.

– Сегодня я плохо спал, – сказал Шизик, собирая со стола карты и складывая их в коробку. – Надо лечь. Иди домой.

Юлия взглянула на него удивленно. Посидела еще, чего-то ждала. Шизик молчал. Нерешительно встала, пошла к калитке.

– Стой! – окликнул он ее, когда она поравнялась со сливой.

Юлия обернулась.

– А знаешь, какова цена лжи? – спросил он. – Ложь – дьявол. Будешь врать, ничего у тебя не получится.

Калитка скрипнула. Закрылась. Шизик встал, прошелся по двору. Потрогал гроздь цветов сливы. Он вдруг заметил, что те потеряли плотность жизни. Это было лишь легкое касание тлена, идущего из гвоздя, и сложно было в этот самый момент отличить смерть от бурного цветения жизни. Но завтра цветы уже завянут.

Шизик мог бы поспорить, что те прилеты у речки были по их бэтээрам. Лживая все-таки русская тварь. Шизик сжал винтовку и взлетел на чердак, с которого прекрасно просматривалась дорога.

Вилы

Выйдя на крыльцо в седьмом часу утра, Валентин Петрович не без удовольствия обозрел свой двор. Повсюду росли розы – на клумбах, у дома, вдоль забора и вокруг беседки с коваными лебедями. Солнце налило в цветки густого света, и, глядя на них, Валентин Петрович подумал, что новые бутоны не успеют раскрыться из-за обещанных к началу следующей недели заморозков. По земле стлался холодающий ветер, заходил в кусты и разбирал их на большие букеты. Все-таки конец сентября.

Прихрамывая, Валентин Петрович пошел к сараю, сложенному из круглых, отборных бревен. Вилы так и стояли прислоненные к стене, а он вчера просил сына Ваню их наточить. Валентин Петрович сделал недовольное лицо, разломил в кармане кусок черствого хлеба и, открыв клетку, протянул кролику хлеб на ладони, не обращая внимания на скрежет из клеток крольчих, учуявших запах. Самцу Лелику шел шестой год, проку от него для хозяйства не было никакого. Валентин Петрович давно бы Лелика закоптил, не испытывая супруга странной любви к этому толстозадому трусливому существу. Валентин Петрович провел ладонью по мягкой шерстке; кролик пугливо дернулся, посмотрел на него глянцевым черным глазом, к которому с той стороны будто припала вся его кроличья душа.

Валентин Петрович отыскал в сарае болгарку. Весь двор взвизгнул. Диск пошел вращаться по зубьям вил. Хлопнула входная дверь, на пороге возник сонный Ваня и, почесывая рыжую бороду, минуты две смотрел на оранжевые снопы искр, вылетающие из-под рук отца. Валентин Петрович не спеша обточил последний железный зуб, выключил болгарку и воткнул вилы в землю. Они вошли легко, мягко.

– Я бы сам сегодня сделал, – сказал Ваня, доставая пятерню из бороды.

– А пока ты, сына, сделаешь, папку натовский солдат пришьет, – обернулся Валентин Петрович и подмигнул сыну.

Он отнес вилы на каменные ступеньки дома и там прислонил их у входа к стене. Дом был добротный, кирпичный, если не сказать богатый, двухэтажный, с дорогой дверью.

– А так я хоть одного сам успею придавить, – добавил Валентин Петрович, многозначительно прикрывая за собой дверь.

Валентин Петрович отправился в кухню выпить чаю. Жена тоже уже не спала, стояла у окна и как будто любовалась розовыми кустами, облепанными солнечными бликами. Валентин Петрович не хотел с ней с утра встречаться, он собрался ехать в Середу и не желал, чтобы жена об этом знала. Жена обернулась, Валентин Петрович увидел, что у нее заплаканные глаза. Он сделал вид, будто этого не заметил, и пошел включать чайник. Жена молча смотрела на него.

– А я вилы вставал точить, – сказал Валентин Петрович.

Жена подошла к широкому шкафу, достала чашку, заварила для него чай, как он любит, и, поставив на стол, села сама. Валентину Петровичу ничего не оставалось, как тоже сесть. От жены приятно пахло туалетным мылом. На ней был красный халат, разошедшийся на белой, но мятой уже груди.

– Игорю вчера повестку принесли, – сказала она и так посмотрела на Валентина Петровича, будто он сам и принес эту повестку другу и ровеснику Вани.

Валентин Петрович промолчал. Он с тоской, предчувствуя неприятный разговор, посмотрел в окно, где небесный фон уже сменился с розового на тотально желтый. «Надо было сразу ехать в Середу, без чая», – подумал он. Из окна был виден бок массивной беседки и кусты желтых роз вокруг. Просил же по крайней мере возле беседки не сажать. Так и думал, что ярденостью цвета будут раздражать глаз. Говорил и предупреждал. Без толку.

– Валя, ты меня слышишь? – спросила жена.

Валентин Петрович посмотрел на нее.

– Игорю принесли повестку, – повторила она. – Надо что-то делать.

– А что именно? – спросил Валентин Петрович.

Жена изменилась в лице. Она молчала, будто не находя слов. Валентин Петрович сунул руку в карман и раскрыл пальцами оставшийся кусок хлеба. Подумал, что и его надо было Лелику отдать, за тем ведь и брал.

– А что делать-то? – не выдержал молчания он.

– Игорю принесли повестку! – крикнула жена, ее щеки порозовели.

– Это я слышал. Ты скажи, что делать. Может, я и сделаю, – проговорил Валентин Петрович, отводя глаза.

– Ты отец или не отец? – спросила она.

– Игорь же взял повестку, – ответил Валентин Петрович, на нее не глядя.

– А при чем тут Игорь? – вспыхнула жена.

– Сама про него начала, а теперь ни при чем? – усмехнулся Валентин Петрович.

– Да что с тобой?! – крикнула жена, но тут открылась входная дверь, и она замолчала.

Со двора вернулся Ваня. Сын – единственный сын и наследник Валентина Петровича – налил себе чаю и стал шумно пить, виновато поглядывая на отца – не исполнил его просьбу. Пока Ваня был тут и мать не могла при нем продолжить, Валентин Петрович вышел из кухни, делая вид, что не собирается в Середу.

Середи была деревней, где находилось принадлежавшее Валентину Петровичу зернохранилище. В конце февраля начались боевые действия, военная техника прошла по окраинам Белгорода, прямо мимо дома Валентина Петровича. Что уж говорить о Середи, стоящей вприпрыжку к украинской границе.

Ехать в Середу не было никакой надобности. Технику он перегнал из хранилища еще в конце августа, поняв, что в этом году СВО не закончится, и дай бог, чтобы хранилище уцелело и в следующем году его с техникой пустили работать на землю. Сейчас хранилище почти пустовало, в этом году ничего не сажали – в ту сторону, к полям, которые Валентин Петрович держал частью в собственности, частью в аренде, не пропускали. Туда шла военная техника, через границу летали снаряды. Но его все равно тянуло посмотреть на ровные свои гектары и подышать запахом прошлогоднего зерна, вьевшимся в ангары.

Уже год он сидел без работы. Денег себе за жизнь заработал, еще лет на двадцать пять хватит. Но от отсутствия дела у него с каждым днем все больше портилось настроение. Вид земли успокаивал недели на три, убегавшие в сторону Украины поля говорили: земля вечна, она не пропадет, и когда все закончится, ее можно будет пахать снова.

В ночь на двадцать четвертое февраля Валентин Петрович проснулся от тяжелого гула за окном. Жена уже встала и, запахивая на груди халат, истерически спрашивала: «Что это? Валя, что?» Валентин Петрович отправил Ваню на улицу посмотреть. Ваня вернулся через десять минут и сказал, что по всей дороге горят костры и кое-где освещают стоящие в полях танки. Идут нескончаемо колонны военных грузовиков. Ванины глаза блестели от любопытства и восторга. Восемь лет назад он вернулся из армии и с тех пор интересовался военным делом.

– Как в кино, – сказал Ваня, и Валентин Петрович отправился смотреть сам.

Когда он вышел из ворот, прямо перед ним затормозил грузовик, остановив всю шедшую следом колонну. Валентин Петрович заглянул под брезент грузовика, в темноте кузова различил суровые солдатские лица. Мгла трещала, искрилась кострами, перекликалась строгими мужскими голосами. Валентину Петровичу на миг показалось, что он попал в черно-белый фильм о войне, подсвеченный новыми технологиями. Только вчера он отметил 23 Февраля в кафе-ресторане «Вернисаж» с друзьями, произнес все нужные тосты за победу над фашизмом и спокойно лег спать.

– Ребят, а что происходит? – спросил Валентин Петрович, сунув руки в карманы расстегнутой куртки и расставив короткие кривоватые ноги, одна из которых была сильно повре-

ждена еще лет десять назад при падении с комбайна. В такой позе – и свойской, и властной – Валентин Петрович обычно общался с рабочими.

Солдаты молчали. Воздух трещал, тархтел, гремели ворота – со дворов выходили любопытные. Валентин Петрович отчего-то подумал: все гораздо серьезнее, чем он мог себе представить даже сейчас, когда еще не знал, что происходит. Наконец один солдат, сидевший с краю, на него обернулся.

– Иди домой, отец, – самоуверенно сказал он. – Все будет хорошо.

Валентин Петрович хотел что-то ответить, но махнул рукой и отошел. По дороге ему навстречу приближалась массивная фигура в камуфляже. Он решил, что это военный, но скоро узнал соседа Пташкина. Тот был охотником. Ему принадлежал самый высокий на улице дом. Вместе со взрослым сыном, ровесником Вани, Пташкин охотился почти каждые выходные. Валентин Петрович сам охотником не был, убивать не любил, Пташкиных считал записными патриотами, но верил в то, что отец и сын встанут в первые ряды защитников, случись война. В ту ночь Пташкин, подойдя к Валентину Петровичу, радостно пожал ему руку и, любовно заглянув в глаза, сказал, вскинув густые брови:

– Дождались.

– А? Что? – Валентин Петрович пожал плечами.

– А ты еще не понял? – спросил Пташкин, пристально заглядывая ему в лицо блестящими от восторга глазами. – На Украину идем, – торжественно прошептал он. – Бить будем пиндосов, всех гадов прижмем. Давно было пора.

Грузовик завелся, колонна пошла, Валентин Петрович с Пташкиным отступили с дороги. Пташкин смотрел вслед колонне с любовью и возбуждением. Валентин Петрович – все больше мрачней.

Он вернулся домой и застал жену с сыном в кухне. Ваня искал в местных телеграм-каналах информацию о происходящем, но еще ничего не писали. Жена нервно ходила по большой кухне. Матово мерцали каменные столешницы. Жена требовала в гарнитур именно камень, а не имитацию, которая от камня не сильно по виду отличалась, но стоила значительно дешевле. Два года назад, когда в доме был ремонт, Валентин Петрович поддался уговорам и выдал на кухню требуемую сумму, уверенный в том, что зерно будет давать постоянный доход.

Валентин Петрович тяжело опустился на стул. Его не оставляло мрачное, тяжелое ощущение, усиленное радостным настроением Пташкина.

– А ты чему радуешься? – спросил он, посмотрев в раздумянное лицо жены.

– Я? – удивилась она и тут же спросила: – А ты не рад?

Валентин Петрович, как и в разговоре с Пташкиным, пожал плечами.

– Господи... – заговорила жена. – Валя, что с тобой? Такое событие происходит. Мы встали с колен. Неужели ты не чувствуешь, как мы встаем с колен? Неужели ты ничего не чувствуешь? – Она заплакала и долго еще говорила о гибнущих детях Донбасса, о страданиях русских.

– А тебе-то что? – наконец перебил Валентин Петрович.

– Мне? – Жена посмотрела на него с таким возмущением, словно он ее оскорбил. – Я – русская, – с гордостью ответила она, поднимая подбородок. – Я – русская, – повторила жена, и в голосе ее появилось больше стали. – И мне... не все равно.

Она не выдержала и снова заплакала. Ваня обнял мать, а она плакала и, как девочка, что-то говорила жалобным голосом, снова о детях, о русских и о невыносимых своих страданиях длиной в восемь лет.

Валентин Петрович был потрясен. И когда Ваня, сорвавшись с места на громкий звук, подбежал к окну и с восхищением в голосе закричал, что идет зенитная установка, Валентин Петрович пошел в свою комнату и попытался заснуть.

По обеим сторонам дороги лежали поля. Здесь, на приличном еще расстоянии от границы, хлеб был посеян и убран. Из земли торчали жесткие кустики срезанных пшеничных стеблей. Валентин Петрович предвкушал появление желтых рощ ближе к Середи. Там всегда бывало тихо, а сейчас, когда село эвакуировали из-за обстрелов и закрыли на въезд, там сделалось особенно тихо.

Валентин Петрович помнил ту тишину по прошлой поездке. Она понравилась ему. Несмотря на опасность, в прошлый приезд он успокоился от земли, которую держал под хлебом еще его отец, а до него – дед. В этой тишине, освобожденной от шума сельхозтехники, от человеческих голосов, он вдруг услышал, какую важную роль он сам выполнял на земле, а до него – отец, дед, предки его, крестьяне, тянувшие жилы, чтобы поднять из нее хлеб. Угрюмо молчали невозделанные поля, рождая в его душе осознание – не за кухонный гарнитур он тут трудился, не за кованых лебедей у беседки, не за новенький «лексус», купленный Ване на день рождения, а от того одного, что вышел из рода хлебопашцев. В тот раз Валентин Петрович вернулся в Белгород важным, молчаливым и набравшимся силы ждать. Сегодня он ехал в Середу за тем же.

Сворачивая у пустого придорожного кафе, он вспомнил слова жены, требовавшей от него что-то сделать. Он мог бы прямо сейчас позвонить в Мурманск троюродному брату Славе, командующему предприятием двойного назначения. С Ваней пришлось бы расстаться, но Слава дал бы ему бронь, и сын все равно был бы занят на военном производстве. Нельзя было бы сказать, что совсем отстранился от войны. Жена этого и добивалась, но Валентин Петрович делал вид, будто не понимает, о чем идет речь, из упрямства желая, чтобы она напрямую произнесла эти слова – «Позвони Славе».

Он не приветствовал и не принимал события 24 февраля, и чем больше шло время, тем сильнее убеждался в правильности такого своего отношения. Но истоки событий при этом он понимал. Да тут от Середы до границы – километра два. Тут все села – российские, украинские – перемешаны и переженены. Его кум жил в трех километрах от Середы, в украинском Стрелечье, и Валентин Петрович, взяв Ваню, по привычке, как в Союзе, наезжал к нему чуть ли не каждые выходные. Нужно было только паспорт с пропиской пограничникам показать. Вместе с семьей кума они ездили в Харьков на рынок Барабашова, где продавалось все. А потом на границе пошли миграционные карточки, и Валентин Петрович остро почувствовал, что Украина – другая страна. Однажды он оставил машину возле харьковского ресторанчика, куда пригласил на обед кума, и кто-то исцарапал машину гвоздем. «То хлопцы видят российские номера и бесятся, – с одобрением в голосе объяснил кум. – Перебесятся». Когда в другой раз Валентину Петровичу в Харькове прокололи колеса, он перестал на Украину ездить. В марте 2022-го половина жителей Стрелечья перебежала в Россию. Валентин Петрович ждал кума и подготовил для него с семьей несколько комнат в своем доме. Но кум побежал в другую сторону – в Харьков. Сейчас Валентину Петровичу хотелось посмотреть в глаза куму и спросить: «Ну что, Женя? Не надоело беситься?»

Да, Валентин Петрович хорошо понимал истоки произошедшего 24 февраля, но сразу, в отличие от многих, не поверил в быструю победу, а когда стало ясно, что из-за боевых действий останутся сельхозработы, он, как бизнесмен, теряющий деньги, но больше как хлебопашец, пропускающий продуктивные циклы земли, почувствовал сильную тревогу, раздражение на власть. Вчера объявили частичную мобилизацию, и он испытал мрачное удовлетворение человека, который, в отличие от многих, не ждал от конфликта ничего хорошего. Но за последние месяцы Валентин Петрович так замкнулся в себе, что, услышав о мобилизации, не подумал: она может коснуться его единственного сына.

На дорогу вышел военный в черной маске с прорезями для глаз и с автоматом, висящим на груди. Рукой он приказал Валентину Петровичу развернуться. Тот остановил машину и, пребывая еще в своих мыслях, выглянул недовольно из окна.

– Слушай, милый человек, – неласково проговорил Валентин Петрович, заглядывая в холодные глаза военного, – дай проехать. На хозяйство только гляну и обратно.

– Разворачивай, – отозвался военный, положив руку на автомат.

– Да я там недавно был, и ничего... – начал Валентин Петрович.

– Разворачивай, – грубо повторил военный, и Валентин Петрович раздраженно выкрутил руль, развернулся, поехал назад.

«А, вот оно как получается, – говорил себе он, глядя на серое полотно пустой дороги, – ты теперь, Валя, не хозяин своей земли. Натовский солдат там хозяин. А русский солдат его стережет. Вон оно как повернулось. А то, что ты, Валя, всю жизнь на эту землю угрохал, теперь никого не волнует. Как и то, что от этого государства ты никогда не зависел, не кредитовался и помощи никакой не просил. Теперь гуляй, Валя, в другую сторону. А как до компенсаций дойдет, три копейки бросят, и крутись дальше сам как хочешь».

Он снова резко повернул руль и съехал в поле. Машина встала на рыхлую землю, как на подушку. Он поехал по полю, намереваясь километрах в десяти от Середы снова выйти на асфальт. «Надо что-то делать», – зло повторил он слова жены, и обозлился на нее еще сильнее, чем до встречи с патрульным.

Он ехал долго, в его голове мешались мысли о жене, о Ване, о земле, о брате. Он почти доехал до места, на котором собирался повернуть. На горизонте уже показался желтый лесок. Сзади послышался глухой гул. Валентин Петрович остановился, выглянул в окно. В десяти метрах над землей летели боевые вертолеты Ка-52. Он их узнал – часто видел в новостях. Они приближались, и Валентин Петрович с любопытством разглядывал их двойные винты, выпуклые, как глаза стрекозы, передние окна. Вертолеты подошли близко, их гул развалился на мелкий стрекот, один прошел прямо над пикапом, сбросив на него черную тень. Еще снизившись, все три Ка-52 скрылись в лесу. За ним начиналась Украина.

Валентин Петрович заглушил мотор. В открытое окно суетливо подул ветер. «А не будет уже тепла», – подумал Валентин Петрович. Тяжелым взглядом он смотрел перед собой на невспаханную землю.

За лесом у самой границы стояли украинские минометы. Валентин Петрович знал, что сейчас будут бомбить. Слышал от местных, которых вот так же, в петлянии по полям, заставляли бои. «И заморозки будут к понедельнику, и в следующую весну не придется пахать», – с уверенностью подумал он.

Раздался первый взрыв – мягкий, неблизкий. Вертолет сбросил снаряд. Пошли еще взрывы. Валентин Петрович завел мотор, но никуда не поехал, так и остался на месте. Бахнул другой залп, чужой, инородный, Валентин Петрович услышал, что тот идет от земли вверх, за ним – взрыв, железным ором прошедший по полю. Из земли как будто вышел большой кулак и пихнулся в дно машины. Наступила тишина.

Было слышно, как шуршит ветер, трогающий прошлогоднюю пшеничную труху. Валентин Петрович зачем-то вспомнил крошки хлеба, оставшиеся в кармане куртки. Он сильно пожалел, что не смог отдать его Лелику. Пропал хлеб. Зазря пропал. Валентин Петрович не любил, когда хлеб пропадал зазря. Сейчас это простое дело – протянутые на ладони кролику крошки хлеба – казалось ему далеким, недоступным, тем, чего больше в его жизни не сможет быть. Он по-новому услышал уже знакомую тишину, она стала еще глуше; ему показалось, что наступил вечный покой, но наступил только для него – для человека, а земле все равно, это его жизненный цикл конечен, а ее – бесконечен, и пусть хоть через тысячу лет, но она родит, если будет зерно. Валентин Петрович, сидя в машине и слушая взрывы, понял, что земле все равно, для кого родить, – для него или для другого, живущего через тысячу лет, и это равнодушие

земли к конкретному хлебопашцу складывается из быстротечности жизни человека, который сейчас жив, а через минуту нет. Эта страшная мысль прошибла его.

Из лесочка появилась черная точка и полетела назад. Тишина прервалась, Валентин Петрович забыл, о чем думал, и теперь следил глазами только за вертолетом, а черные брызги земли, забившие фонтанами по полю, видел, но не воспринимал как имеющие к нему отношение. Из леска вылетел второй вертолет. Ка-52 шли словно пьяные, снижаясь к земле. Блестели на осеннем солнце их кабины, блестели и болтались; казалось, могли оторваться от винта, и тот бы пошел острым колесом сам пахать ждущую землю.

«А где ж третьего забыли?» – спросил про себя Валентин Петрович.

Когда вертолеты поравнялись с ним, он вывалился из машины, сильно припадая на разболевшуюся хромую ногу, и что-то закричал в высоту, задрал голову, ища глаза пилотов. И так кричал в самый стрекот, сам не слышал, не понимал своих слов, разрезанных винтами, пока вертолеты не ушли с поля. Валентин Петрович подождал третьего, посидел в машине еще, положив руки на руль и с тяжелой злобой глядя в далекую желтую листву. А когда понял, что третий вертолет уже не вернется, поднял руку и показал в ту сторону фигу.

– Выкусишь, – зло, чуть не плача сказал он. – Сука натовская, выкусишь у меня!

Валентин Петрович вернулся домой, не доехав до Середы, уставший, злой и обиженный. С кухни доносились голоса. Один голос принадлежал жене, второй Валентин Петрович узнал не сразу, а потом догадался – Трегубова, соседка через улицу. До СВО жена с ней не общалась, только здоровались, а сейчас Трегубова в их доме частая гостья. С женой и другими женщинами из соседского чата готовят сухие супы для фронта, плетут маскировочные сети, собираясь по очереди друг у друга. Жена просила его купить общую на всех большую гидросушилку – для фронтовых супов и чаев. Он купил. Тогда Валентин Петрович в серьезной манере, в которую вложил весь деревенский свой прагматизм, впервые произнес: «Не хочешь кормить своего солдата, будешь кормить чужого». Где слышал эти слова, не помнил, но к моменту они шли. И на жену стало приятнее смотреть. К ней как будто молодость вернулась. Валентин Петрович иногда, таясь, смотрел на нее, и ему казалось, она не для солдат пайки собирает, а собирается свадьбу играть единственному сыну.

Трегубова рассказывала о Пташкине:

– Утром только мобилизацию объявили, а он к вечеру Толику уже бронь сделал. – В ее голосе мешались доверие к жене Валентина Петровича и восхищение Пташкиным.

Валентин Петрович замер на месте – что скажет жена. Что, мужа хаять при этой тригубой начнет, что он, такой-сякой, бронь сыну до сих пор не сделал? «Дура ты дура, – заранее обиделся на жену Валентин Петрович. – А пусть говорит. Пусть все знают, что Валя Пронькин сына бронькой не прикрыл». И слово это, «бронька», вылезло не пойми откуда. Никогда такого не знал, не слышал, не говорил. Но, сказав про себя «бронька», он вдруг понял, как ему было противно звонить Славе. «А Пташкин каков, – усмехнулся он про себя, – ходили с сыном – ну ты, два пузыря».

– Вы чего ждете? – спросила Трегубова.

«А-а-а, на Ваню позарились», – подумал он и сам услышал, что внутренний голос, озвучивавший эти его мысли, был противным, гаденьким. Валентин Петрович чувствовал, что заводится, а когда он заводился, то остановиться уже не мог.

Трегубова часто приходила к ним с незамужней двадцатипятилетней дочкой. Валентин Петрович ничего против той не имел, пигалица как пигалица. Но у Вани была девушка – кажется, Ленка. Валентин Петрович не был с ней хорошо знаком потому, что Ваня часто менял девушек. Это когда он первую, Марию, в дом привел, они с матерью старались, а потом Ваня Машку бросил, появилась Светка, за Светкой Дашка. Да ну их всех, запоминать. Такие отношения Валентин Петрович не одобрял, и поэтому был недоволен сыном. После армии Ваня

учился на инженера, потом работал на отца. Но как хозяйство в этом году встало, Ванька тоже забездельничал.

– У Пташкиных связей больше, чем у нас, – сказала жена.

И хотя она не стала, по выражению Валентина Петровича, хаять мужа, он все равно услышал в ее голосе упрек. Он вошел в кухню, хоть и понимал, что делает это зря, встал на пороге и, скрестив руки на груди, глумливо улыбнулся.

– Что? – глумливо же спросил он. – Весь патриотизм вышел?

Проговорив эти слова, он гаденько засмеялся. Женщины переглянулись.

– Что с тобой, Валя? – строго спросила жена.

– Спрашиваю, патриотизм весь кончился после объявления мобилизации или еще маленько осталось?

Трегубова поднялась, пошла к выходу, суетливо прощаясь. Жена вышла ее провожать. На ступеньках грохнулись вилы. Трегубова взвизгнула:

– Что ж вы вилы у порога держите?!

Валентин Петрович подошел к окну. Небо было желтым, словно в него сверху, как в стакан, налили лимонного сока. Розы рябили в разогретом воздухе, он как будто смотрел в экран с помехами. «А разбери эту погоду», – желчно подумал он. Он услышал, как жена вернулась в кухню. Знал: когда обернется, жена примется его стыдить. Вспотевшей рукой он пригладил волосы, некрасиво свернув их набок. Медленно повернулся и встал перед ней весь какой есть – коренастый, колченогий, пузатый, с ершистой, почти седой головой. На, ругай.

– Ты звонил? – спросила жена.

Валентин Петрович обомлел. «Ради чего это все? – спросил себя он. – Вот эта вся работа без передышки? Чтобы уложиться в бесконечные циклы земли, которой до нас, до людей, все равно? Мне-то, Валентину Петровичу, все это начто? Чтобы под конец жизни ни к себе уважения не иметь, ни к сыну, ни к жене?»

– Чего ты, Света, хочешь от меня? – с мукой спросил он.

– Не звонил! – Она дернулась к нему. – Долго ты будешь издеваться надо мной?!

Валентин Петрович промолчал.

Ее халат раскрылся, на него пахнуло теплым, приторным женским потом.

– Пташкин уже сделал Толику бронь, – сказала она. – Ты чего ждешь?

– А Ваня с Толиком никогда не дружил! – выпалил Валентин Петрович.

– А при чем тут это? – Жена отошла на шаг, как будто чтобы лучше видеть его всего. – При чем?

– При том, что как он потом друзьям своим в глаза посмотрит, когда они вернутся с войны?

Жена отступила еще дальше и воззрилась на него так, будто только теперь, после стольких лет жизни начала понимать, каков он и с кем жила.

– Ах вот как ты, Валя... – прошептала она. – Сына у меня отнять хочешь?

Они оба замолчали, Валентин Петрович мучился от того, что жена настолько не понимает его. «Да никогда и не понимала, чего жалуешься теперь». Он хотел уйти, но не мог взять и уйти посреди такого разговора. Он посмотрел на ее руки и увидел, что они чем-то заняты – скручивают и распрямляют какую-то бумажку. Он почему-то решил, что на ней написаны страшные слова. Слышать их ему не хотелось, и он еще раз с тоской подумал, что зря не позвонил Славе утром. «Все равно ведь позвонишь».

Признавшись самому себе, что он хоть с утра и упирался, а все-таки этот вопрос для себя уже решил, он не испытал облегчения. Но, примерив всю тяжесть решения, понял, что и так можно жить. Он ждал больше груза для души от такого решения, а оказалось, оно весило меньше.

Валентин Петрович сделал движение к жене, чтобы сказать ей, что собрался с духом и добудет для сына бронь, но вдруг увидел, что никакой бумажки у нее в руках нет, и по глазам ее понял: она уже нашла слова и скажет их по инерции, что бы он сейчас ей ни говорил. Жена встряхнула головой и разомкнула бледные губы.

– Ты никогда не был ему нормальным отцом, – чужим голосом произнесла она.

– Был, – промычал Валентин Петрович.

– Ты! – крикнула она. – Не смог ему даже мороженое в Сочи купить!

Валентина Петровича словно хлестнули по лицу. Он выскочил во двор.

Дом, квартира в Белгороде, две сотни гектаров земли, четыре комбайна, три трактора, зернохранилище. Зачем это все? Валентин Петрович сидел в беседке и жмурился на желтые розы, росшие вокруг. Он встал, прошелся, скрипнули добротные половицы. Дотронулся до крыла кованого лебедя. А лебеди для кого? «Для чего это, Валя? – с мукой спросил он себя самого. – Хвастаешь изливством, а мороженое сыну не купил». Валентин Петрович вспотел и покраснел.

Он думал, жена забыла, а Ваня помнить не мог – ему в той поездке было три года. Сам Валентин Петрович давно о том дне не вспоминал, все ушло в прошлое – бедность, молодость, стыд. И подобного стыда он после того дня в Сочи не испытывал, если только отголоски. Благо-состояние его росло, и по мере того стыд уходил, а больше ему стыдиться было нечего. Ничего страшно плохого он за жизнь не сделал. Но сейчас, глядя на вялые приторные розы, он чувствовал, что стыд тут, не вернулся, а всегда был внутри, горит на его щеках, обжигает горячим дыханием шею, будто лебеди эти поставлены тут еще не остывшими после кузни. Это был тот самый старый стыд – не новый, а привезенный из Сочи. «Была бы умней, не напоминала бы», – подумал он о жене. Зря Ольгу бросил. Ваньку, дурак, пожалел – кем вырастет сын без отца в семье. «Не трусом вырос, а? – с насмешкой спросил он себя. – Не лентяем и бабником?»

Ольга встретила Валентину Петровичу тогда, когда он уже мог ее оценить. Он женился совсем молодым и еще не знал ничего о женской красоте и не умел ее понимать. Любая молодая женщина казалась ему интересной. Женщина нужна была для того, чтобы выполнять свою женскую часть работы, больше ни для чего. А когда, лет через семь после женитьбы, глаз Валентина Петровича распробовал женскую красоту, он тяжело осознал, что жена была обычной: широкой в кости, блеклой. Это сейчас можно было подумать, что в молодости она была хороша. Не была никогда. А глаз Валентина Петровича научился выхватывать в автобусах, на работе женскую красоту, но было поздно. Уже родился Ваня.

С Ольгой Валентин Петрович повстречался, когда глазами уже, и несколько раз не только ими, наелся красоты и пришел к выводу, что самая ценная женщина – та, которая понимает. Жена его не понимала. А может быть, решила, что поняла его всего в первые три года совместной жизни и больше ничего нового в нем не найдет. А он тогда еще был слишком молод и не принял окончательной формы. Его такое отсутствие интереса обижало, он всегда думал, что его внутренний мир богат и постоянно обогащается через работу.

Ольга работала у него в компании агрономом. От первого брака у нее был сын, ровесник Вани. Три года она ждала решения Валентина Петровича, а когда тот сообщил, что решил остаться в семье, уволилась, и больше он ее не видел. Но думал о ней много и одно время постоянно. Теперь уже почти не думал, но изредка почему-то вспоминал, и души его как будто касалась шерстинка, сводило грудь. «А стоило оно того?» – спросил себя он и сразу увидел через головы роз жену, вышедшую на крыльцо. Она направилась в его сторону. Валентин Петрович растерялся, он не был готов к встрече с ней и боялся, что мысли об Ольге написаны на его лице. Хотя Валентин Петрович был уверен, что жена об Ольге не знала, но раньше замечал, что в те минуты, когда о ней думал, жена смотрела на него с осуждением.

Жена прошла мимо беседки, с высоко поднятым подбородком, все еще в своей надменной обиде. Зашла в сарай. «Не заметила», – с облегчением подумал он. Услышал, как она воркует с Леликом, не разобрал слов, но ему были слышны интонации. Жалуеться. Кролику жалуеться. Валентин Петрович вспомнил, как уволилась Ольга – очень тихо, без скандала, без зла. Вслушиваясь в голос жены, он почему-то подумал, что сын Ольги уже повзрослел и ему, как и Ване, могли принести повестку. Он почему-то знал, понимал, что Ольга не стала бы искать для сына бронь. «И почему ты, Валя, не смог стать отцом для двоих?» – вдруг спросил себя он; никогда раньше он не думал о том, что мог быть стать отцом двум мальчикам сразу.

Валентин Петрович решил звонить Славе сейчас, достал из кармана телефон, но так и остался сидеть с ним в руках, продолжая слушать голос жены.

Скоро она пошла назад, остановилась возле беседки и стала общипывать жухлые бутоны. По торжественному выражению ее лица Валентин Петрович понял: она знала, что он тут. Знала также – не могла не почувствовать, – что он переменял решение и будет звонить. На ее лице было торжествующее спокойствие. Валентин Петрович вспомнил, что в кармане рабочей куртки у него лежит раскрошенный кусок хлеба, вспомнил, как днем, там, на поле по дороге в Середу, жалел, что не отдал его Лелику. И он решил прежде отдать кролику хлеб, завершить этим действием прежнюю жизнь, подвести черту, закончить все дела в старой жизни и перейти в новую, которая начнется после звонка.

Валентин Петрович зашел в сарай в рабочей куртке, достал из кармана крошки и, открыв клетку, протянул их Лелику. Кролик отшатнулся, но, учуяв запах хлеба, подошел и, глянув на Валентина Петровича глянцевой пустотой, стал есть. Валентин Петрович чувствовал его кроткое дыхание на своей ладони. Увлечение жены бесполезным в хозяйстве кроликом он считал блажью, которую прощал до сих пор. А сейчас он думал, что умная женщина не стала бы напоминать мужу о его позоре через много лет. Была бы умной, забыла бы, даже если бы помнила. Валентин Петрович резко схватил Лелика за шкуру, раздавив о нее недоеденные крошки. Лелик остолбенел, отяжелел. Валентин Петрович перехватил его уже за задние лапы и, опустив головой вниз, покружил в воздухе. Лелик забарахтался, но с каждым оборотом как будто становился легче.

Еще до знакомства с Ольгой Валентин Петрович работал после института бухгалтером в пенсионном фонде. От работы получил путевку в Сочи на себя и жену. Ехали они с трехлетним Ваней на двенадцать дней накануне денежной реформы. Денег у него не просто с собой не было, у него их из-за задержки зарплаты в принципе почти не было. Но отдыхали хорошо, Валентин Петрович целыми днями учил Ваню плавать. Покружив, бросал в воду: «Плыви к маме!» Ваня плыл к матери, та хватала его, обнимала, прижав к себе, и посылала плыть к отцу. А Валентин Петрович нечасто позволял себе обнимать сына, чтобы не вырос слюнтяем, но тогда, уча плавать, находил момент, чтобы ласково погладить своего мальчика по спине, по голове. Валентин Петрович ладонью вспомнил то ощущение от мокрых Ваниных волос, и сердце легонько свело.

Он почувствовал, как кролик ластится к его руке. Они всегда лезут под убивающую руку. Надежда, что ли, у них такая или инстинкт. Он достал палку из ящика, стоявшего прямо под клетками, перестав на секунду кружить. Сколько кроликов переколотил, а так и не научился бить, не прерывая вращения. Всегда рука с кроликом застывала, и кролик очухивался. Размахнувшись, он успел заглянуть в черный кроличий глаз, в котором душа отстала от глянца и вся сжалась, скукожилась в ожидании. Удар вышел тупым, глухо отозвавшись в сердце Валентина Петровича. Лелик моментально отяжелел. Валентин Петрович быстро подвесил его за лапы на железные крюки на стене, подтолкнул ногой под него жестяной таз.

В какой-то из дней, перед самым отъездом, на пляж пришел мороженщик с коробкой вафельных стаканчиков. Родители покупали мороженое своим детям, а у Валентина Петровича

не было денег. Вечером думал занять у аналитика из пенсионного фонда, отдохавшего в том же санатории. Будь у Валентина Петровича деньги, он бы купил. Ваня долго канючил, брал отца за руку, дышал ему в ладонь мокрым от слез носом. Мороженщик стоял напротив них, улыбался, ждал, требовательно и строго смотрел на Валентина Петровича. Тот неловко улыбался сам, говорил, что у Вани заболит горло, что он купит в другой раз... Плескались волны, воздух трескался от жара. Валентин Петрович хорошо помнил, как его загорелая до черноты шея обжигалась стыдом. Разозлившись, мороженщик захлопнул коробку и ушел. Ваня посмотрел на отца, и Валентина Петровича пронзила мысль, что маленький сын в этот самый момент что-то понял – о жизни, об отце. Ему тогда захотелось обнять Ваню, втиснуть в себя, защитить от всех несправедливостей, которые еще будут в его жизни. Но он этого не сделал.

Ножом он проткнул шею кролику, слева, под самой головой. С оглушительным звоном кровь хлынула в жестяной таз. Валентин Петрович испугался, что услышит жена. Он воткнул лезвие глубже.

Когда кровь заполнила таз на три пальца, Валентин Петрович потрогал хвост кролика рукояткой ножа. Хвост еще не опал, значит, кролик живой. Валентин Петрович хотел доделать работу быстрее, боясь, что в сарай зачем-нибудь зайдет жена, но он все-таки был гуманистом.

В детстве он резал кроликов с отцом. Однажды забили их штук пятьдесят. Валя устал, спешил доделать работу и, уже срезая лоскуты с ножек, вдруг услышал, как кролик то ли тихо заплакал, то ли запел. Валя закричал, насмешив отца, и, дрожа, не попадая, долго и, наверное, больно отрубал кроличью голову...

Валентин Петрович был гуманистом до такой степени, что никогда – никогда – не позволял Ване резать кроликов. Он еще раз дотронулся рукояткой до хвоста. Уже опал. Валентин Петрович быстро начал снимать шкурку, выбивая лезвием по розовому мясу тонко-звонкую пронзительную музыку.

Валентин Петрович мыл в тазу руки, когда у ворот остановилась машина. Хлопнули дверцы, раздались молодые мужские голоса. «Солдаты», – догадался он, и тут же подумал, что в фильмах о Великой Отечественной солдаты звучали по-иному – добрее, что ли, и обреченнее. В нынешних голосах ему слышался преувеличенный гонор много на себя взявших пацанов. Он вспомнил патрульного на дороге в Середу и внезапно понял, что звучат они так грубо и преувеличенно круто от страха.

Когда Валентин Петрович, переодевшись в спортивный костюм, зашел в кухню, двое молодых солдат уже сидели за столом, шумно пили чай, а жена у каменной столешницы готовила для них бутерброды.

– Вы хозяин? – привстал при появлении Валентина Петровича красивый румяный блондин.

– Я. – Валентин Петрович тоже сел за стол, приветливо посмотрел на солдат и, взяв французский чайник с поршнем, подлил в чашки, этим показывая, что рад гостям.

– Да мы не голодные. – Красивый боец поджал губы, будто у него была какая-то шутка, которую он стыдился сказать.

«Красавец парень, – подумал о нем Валентин Петрович, – таким бы и размножаться».

– Женат? – спросил Валентин Петрович, пододвигая к нему тарелку с колбасой, хоть та и так стояла близко.

Красавец расхохотался и отрицательно закрутил головой. Валентин Петрович вздохнул и теперь посмотрел на второго – темноволосого длинноносого. «Не русский, что ли?» – подумал он.

К нерусским Валентин Петрович относился как все – с подозрением. Русского человека готов был принять сразу, а нерусский должен был еще доказать, что приема заслуживает. Но

раз пошел воевать за Россию, значит, заслуживает. Валентин Петрович и к нему пододвинул тарелку колбасы.

– Такую ешь? – спросил он.

– У них в Магадане всё едят, да, Тох? – Блондин вскинул брови и посмотрел на Валентина Петровича так по-шаловному весело, что тот и сам рассмеялся.

«Значит, русский», – с облегчением подумал Валентин Петрович.

– Дядь, а что у вас вилы у входа стоят? – спросил красавец.

– А-а-а... – Валентин Петрович весело погрозил ему пальцем – мол, заметил, чертяка.

В это время к столу подошла жена со сковородой шипящей яичницы.

– Это, сынок, – продолжил Валентин Петрович, многозначительно посмотрев на жену, – я с утра наточил для натовского солдата. Если вы там обделаетесь, я тут хоть одного успею придавить.

Жена покраснела, застыла над столом с горячей сковородой. Валентин Петрович скорее не увидел, а почувствовал ее стыд. Столько лет с этой женщиной прожил, шкуркой научился его узнавать. «Что, мать, стыдно?» – усмехнулся про себя.

– А сына у вас, получается, нет? – спросил блондин.

Темный, продолжая размешивать в чашке сахар, поднял на Валентина Петровича любопытные глаза и тут же снова опустил и уставился на средний палец Валентина Петровича. По краям широкого ногтя стояла темная запекшаяся кроличья кровь. «Плохо смыл», – подумал Валентин Петрович, проследив за взглядом. Темноволосый прервал вращение ложки и со строгим осуждением посмотрел на Валентина Петровича. Тот сразу пожалел о том, что зарезал Лелика. Зачем оно было надо? Теперь не объяснишь при жене, что это кроличья кровь. Она сразу поднимет плач. Дался ему этот толстозадый болван, жил бы себе. Зачем сделал?

– Как сына нет? – проговорил Валентин Петрович. – Есть.

– А где он? – спросил блондин.

– Мать, а где наш Ваня? – Он повернулся к жене.

– Не знаю, – устало отозвалась та. – К Ленке, наверное, пошел.

Валентин Петрович подмигнул бойцу – слышал, к Ленке пошел. Боец тряхнул головой и снова весело вскинул брови.

– Лех! Тох! – зычно позвали с улицы.

Бойцы поднялись, начали собираться.

– Куда? Не доели, – засуетилась жена.

Женщиной она была все-таки хлебосольной. Валентин Петрович на ходу успел заметить, что красавец-блондин непропорционально скроен, ноги у него короче туловища и портят весь вид.

Он уже разворачивал бурную деятельность. Послал жену в чулан к холодильнику за двумя ломтями сала, сам, прихрамывая, сбегал в гараж и принес две пыльные бутылки самодельного вина и при этом хватал бойцов за руки, требовал, чтобы всё взяли.

– Отдадите командиру! – кричал он.

Оживившаяся жена быстренько собрала несъеденную яичницу и бутерброды, и всеми правдами и неправдами, уговаривая, а где-то повышая голос непрерываемо, заставила бойцов взять с собой большую сумку продуктов.

– По дороге съедите, – строго говорила она. – Кушать захочется, еще как съедите! Слушай, а ну молчи. Тебе не надо, другим надо! Сказано: бери!

Валентин Петрович успел подумать о том, что так она обычно разговаривает с Ваней, и, спохватившись, достал из шкафа трехлитровую банку меда. И сразу замотал головой, заранее предвидя возражения:

– А я сказал взять. Взять.

Он награбил этой банкой темноволосого, тут же побежал во двор провожать бойцов. И пока они шли туда и бойцы отпихивались от продуктов, Валентин Петрович обернулся и увидел, как вышедшая на порог жена, скривившись, как будто от боли, крестит спины солдат. Снова упали вилы, но теперь их грохот о каменные ступени просто лег в общую канву суеты как подходящий к ней аккорд.

Когда солдаты уехали, Валентин Петрович запер ворота, вернулся в дом и тяжело опустился на стул. Жена стояла у окна.

Супруги молчали, и молчание между ними длилось долго.

Валентин Петрович слышал, как она всхлипывает. Ему на руки ползли тени – солнце уходило. Точно, к понедельнику все тут померзнут. Всклипы жены становились чаще, глубже, Валентин Петрович продолжал молчать и даже не пошевелился. А когда из окна совсем ушло солнце, он ласково спросил:

– Что, мать, чужих сыновей не жалко?

Она повернула к нему удивленное, распухшее от слез лицо.

– Всех мальчиков жалко, маленьких миленьких солдатиков, – звонким от надрыва голосом сказала она. – Всех бы обняла, пожалела. Но своего сыночка жалче.

Она порывисто подошла к нему, плюхнулась перед ним на колени и запричитала.

Чего она только не говорила, и чего только Валентин Петрович не узнал из ее слов. Узнал много такого, чего всю жизнь с ней жил, а не знал. Причитая, она говорила, что были у нее спрятаны деньги и она купила Ване в тот день мороженое. И об Ольге сказала, сузив глаза, изменившись, с ненавистью. Назвала Ольгу цыганкой, темной душой. Все эти годы она о ней знала, но простила его, а он и не заметил. Валентин Петрович сидел, обомлев, и не успевал отдаться чувствам по одному поводу, как сразу шло другое признание, и он испытывал новое, противоположное чувство. Жена сказала, что если бы он ушел от нее, она бы и тогда простила его, но по ее холодному высокомерному взгляду он понял, что простила бы только на словах. Она говорила, что много терпела от него и прощала ему все, но сейчас не простит, если он не спасет Ваню.

Валентин Петрович сидел не шевелясь, сжав руку в кулак, чтобы жена не увидела вокруг ногтя кровь.

– Да я бы... не ушел... – наконец с мукой выдавил он и сам понял, что действительно никуда не ушел бы, не ради Вани, не ушел бы ради жены. Сказано церковью, жена и муж станут единым, так что ж ему, свои правила изобретать, когда его предки по-церковному жили?

Жена придвинулась, взяла его руку, разжала кулак и уткнулась лицом в его ладонь. Заплакала.

– Валя, позвони, – просила она. – Умоляю, позвони.

– А как он потом жить будет? – спросил Валентин Петрович, закатив вверх глаза, чтобы самому не заплакать. – Кем будет среди друзей ходить – первым трусом и подлецом? Да я бы и сам пошел, если б не нога. А у него молодого какое может быть оправдание?

– Спаси сына! Сиротами останемся, одни на всем свете! – крикнула она так, будто Ваня уже умер, и заорала некрасивым утробным голосом, каким не владеющие собой бабы плачут на похоронах.

– А другие? – спросил Валентин Петрович, ласково положив руку ей на голову. – Вон те два мальчика пошли родину защищать?

Слово «родина» вышло у него плоским, фальшивым. Валентин Петрович чувствовал, что оно не подходит к моменту. Но и не знал, чем его заменить. Сам не знал, что должен защитить Ваня, только чувствовал, что должен.

– Чего ты хочешь, Валя? – прорычала жена, подняв на него пустые глаза. Уголки ее рта тряслись.

– Хочу знать, кого я воспитал – труса или нормального человека. – Валентин Петрович шумно вздохнул. – А то, что он у нас один, – его рот скривился, как от судороги, Валентин Петрович ее переждал, – так и у других негусто.

Она уронила голову ему на колени и снова тихо заплакала. Так прошло еще время, и снова выглянуло солнце, но иное – вечернее, последнее, позднее.

– Эта страна тебе ничего не дала, – сказала жена злым раненым голосом.

– А я бы все равно за нее пошел, – тихо отозвался Валентин Петрович.

– С каких пор родина стала для тебя важнее сына? – спросила она.

– Важнее, не важнее, Света, это неправильный вопрос, – ответил Валентин Петрович, с трудом выговаривая слова и глядя через натекащие в глаза слезы на двор свой, на беседку, на кованого лебедя, на цветы. – Дело в том... – Валентин Петрович схватил воздуха. – А не нужен мне такой сын, – отчеканил он.

Она попятилась от него на коленях. Жена словно высохла вся, пока плакала. Смотрела на Валентина Петровича с ужасом, со страхом. Крутила головой, словно не могла принять и осознать его слова.

– Не будет у нас с тобой, Валя, больше общей жизни, – холодным тоном проговорила она. – Мы с тобой больше друг друга не понимаем. А ты еще поймешь меня, Валя. Поймешь. На его могиле.

Сказав эти слова, она снова сорвалась на рыдание, Валентин Петрович хотел что-то добавить, но на лестнице упали вилы. Послышался голос Вани, звавший отца.

– Пап, а чё Лелика зарезали? – спросил Ваня, заходя в дом.

Он бросил на пол большую спортивную сумку. Жена перевела ничего не понимающий взгляд с него на мужа. Открыла в изумлении рот.

– Что это, Вань? – Валентин Петрович кивнул на сумку.

– С Игорьком ездили в военторг, – просто сказал Ваня и пошел попить воды. – Ему ж повестка пришла. Я решил сразу всю снарягу купить, пока скидки. Завтра в военкомат.

– Ты пойдй, пойдй, Ваня, – негромко проговорил Валентин Петрович, – положи Лелика в копилку.

Ваня, напившись, вышел. Они с женой еще молчали. Валентин Петрович наконец решил что-то сказать, но забыл что, и губы его не послушались. Он поднял руку, угрожал кому-то или чему-то кулаком, лицо его съехало на сторону. Шерстинка коснулась сердца, подняв его дыбом.

– Валечка, что?! – крикнула, бросаясь к нему, жена.

Валентин Петрович почувствовал ее руки на своей голове, сделал над собой усилие и, разжав тугие губы, произнес:

– Сына-то родине я отдал, а мороженое ему не купил.

Торжество

Угол кухни был разворошен прямым попаданием. Посередине стоял деревянный стол, на нем – чашки, тарелки, все в изморози и черных потеках цементной пыли. Бармалей бросил взгляд в окно – отсыревшие под ледяным дождем колья заборов, черные деревья, электрические провода – висят низко, болтаются, как качели, задевают крыши домов. Дорога черная, будто вымазанная мазутом. По ней Бармалей только что прошел в составе ударно-штурмовой группы.

Он бесшумно отступил к стене, прилепился к ней спиной.

Отмотал на пятнадцать минут назад, чтобы удостовериться: все в этом штурме пока было сделано правильно.

Они зашли через поле – он, Вий и Борзый. Пересекли его бегом. Бармалей мысленно увидел раскисшие кочки и жесткую одичавшую траву. С поля поворот на дорогу – такую же маслянистую, как та, что виднеется из окна. По обочинам – сгоревшие деревья. Ноги Бармалея в армейских ботинках на тугой шнуровке быстро-быстро мелькают по дороге. На столбе ветер дерет желто-голубую тряпку.

Борзый и Вий шли впереди, он замыкал. С дороги повернули на эту улицу частного сектора, еще через две улицы будет завод, который подразделения не могут взять до сих пор. Бармалей уже два месяца ходит здесь в штурмы, но завод пока не дается.

Бармалей вспомнил даже крышу соседнего дома, она мелькнула слева – обугленный каркас развернут в небо, будто ребрами скелет.

Борзый обернулся и из прорези балаклавы глазами показал на этот дом. Улицу вчера зачистили смежники, но в штурмах никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Они прошли по двору, напрягаясь, когда под подошвой скрипел осколок стекла или щебня. Обогнули двор и зашли в дом. В таких домах на подступах к Авдеевке Бармалей бывал без счета. Здесь, как и в других домах, все разбросано, хозяева ушли давно, и уже не раз тут побывали чужие. Это было видно по всему. Из широкого коридора проем вел в кухню, и деревянная лестница уходила на второй этаж. Борзый и Вий поднялись вверх, Бармалей остался вниз.

Он остановил перемотку – все было сделано правильно.

Внезапно свет с улицы резко поменял угол и развернулся сюда. Далекое солнце, которого с утра не было и в помине на небе, пересело ближе к Бармалею и ударило косым белым лучом именно в эту дыру в потолке. Справа у плеча Бармалея возникло свечение – это пыль, поднимаясь от пола, заиграла в луче. Бармалей обернулся туда и вздрогнул – из этого светящегося силуэта, сшитого из света и пыли, на него смотрели глаза, кроткие и спокойные. Глаза двигались, плыли в переливах тяжелой пыли. Меньше четверти секунды у Бармалея ушло на то, чтобы понять – это икона, стоит на угловой полке. А игра света создает иллюзию движения глаз. Бармалей выругался. На иконе был изображен Спаситель. Таких икон в разбитых домах было завалилось. Почти в каждом смотрели со стен, с пола из-под битого хлама.

Снаружи – канонада артиллерии то приближалась, то отступала – обычное музыкальное сопровождение Авдеевки. Сбитый с толку мозг Бармалея бесконтрольно начал выдавать старые кадры. Бармалей зачем-то вспомнил, как заходил месяца три назад в Макеевке в церковь. Был в редкой увольнительной двое суток. Стоял перед большой иконой Спасителя же в громоздком окладе. Молитв не читал, с Богом не разговаривал, хотя в прошлой жизни – до войны – тянуло на разговоры с Ним. Он попытался вспомнить перед Ним всех, кого убил, но всех не вспомнил. В лица убитым принципиально не смотрел – не хотел, чтобы откладывались на записывающем устройстве мозга и когда-нибудь потом тревожили его. Достаточно было увидеть, что человек падает как мешок, складывается неестественно. Живой так не упадет. Бармалей забирал оружие и, не глядя в лицо, уходил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.